

ДОМ ГЛУХОГО



Дима Жданов

18+



Дима Жданов

Дом Глухого

Редакторы: Дмитрий Жданов, Александр Аржанов.

Иллюстраторы: Елизавета Косарева, Дмитрий Жданов.

Жданов Д.

Дом Глухого / Дима Жданов. — Вологда: 2024. — 100 с.

Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в интернете и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ для публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав.

© Дима Жданов, текст, 2024

© Дима Жданов, дизайн обложки, 2024

© Елизавета Косарева, иллюстрация, 2024

МЫШКИ

*Чудище обло, озорно, огромно, стозевно
и лай.*

А.Н. Радищев,

«Путешествие из Петербурга в Москву»

Властимир Степанович был очень важным и могущественным лицом. Каждый день он просыпался с невообразимым обычному человеку чувством успешно исполняемого долга перед женой, детьми и, разумеется, начальником. Последний по совместительству приходился Властимиру тестем.

Совершенно не важно, кем работал Властимир Степанович. Действительно имеет значение лишь то, что его физический вес полностью соотносился с тем, каким могущественным человеком он был. Ежедневные звонки в собственном кабинете по поводу решения самых разных проблем от исписанной непризнанным талантом стены до испорожившегося в неположенном месте прохожего на здание, где работал Властимир, ежечасно подстегивали особый азарт самопровозглашенного трудоголика.

Но был ли Властюша действительно трудоголиком? Конечно, с этим было бы совершенно глупо спорить. Даже между звонками, просиживанием в туалете и выписыванием штрафов сотрудникам Властюша не забывал задействовать все органы чувств.

Часто он выходил на обход своих владений, как лев, осматривающий прайд. Сначала он заглядывал в обеденный зал. Властюша ждал, когда сможет остаться один, чтобы прильнуть носом и прикоснуться к стулу, на котором совсем недавно сидела одна из его особо симпатичных сотрудниц. Иногда он проходил мимо

туалета и как бы случайно подмечал, как другая особо любимая подчиненная в него заходила. Властимир Степанович совершенно не стеснялся с трудом опуститься на колени, дотянуться сквозь плотное обвисшее пузо до блестящего кожаного ботинка, развязать шнурок и начать очень долго его завязывать. Он аккуратно прислушивался к происходящему в соседней комнате и тихонько приговаривал «Ой, да...». Последнюю гласную Властюша растягивал так, будто ему повезло вдохнуть самый сладкий запах только что созревшего винограда или распустившегося пиона.

Иногда, когда сотрудница была действительно крайне любима, он даже специально задерживался, чтобы его слегка пришибло открывающейся дверью. Тогда Властимир Степанович совершенно не театрально чуть сваливался на бок, как бы подзывая к особым игрищам самку. Та с такой же нетеатральной улыбкой и снисхождением опускалась к нему на колено, дабы помочь подняться. Властимир в свою очередь, подобно тигру, схватившему лань, крепко сжимал предплечье несчастной, а иногда даже бедро, потом будто случайно подтягивал ее ближе к себе и едва заметно вдыхал иногда пряный, иногда сладкий (в зависимости от использованного шампуня), иногда слегка спертый запах волос. Вкупе с туго придавливающей шею пуговицей это доставляло ему непомерное удовольствие, сравнимое разве что с кульминацией эротической асфиксии. Поднявшись, девушка аккуратно одергивала юбку, они улыбались друг другу, и жертва быстрыми, но короткими шагами, старалась скорее покинуть место встречи. Властимир Степанович же последний раз вдыхал остаточный шлейф нахождения здесь представительницы прекрасного пола, а затем степенно шел в другую сторону, продолжая осматривать владения.

Интересно складывались его отношения с тестем. Георгий Венедиктович, когда еще молодой и довольно симпатичный (насколько может быть симпатичным лицо, больше напоминающее пророченную картошку) Властюша сватался к его дочери, поставил условие. Обещая сделать его очень важным и весомым человеком, тот взял с зятя клятву, что взамен Властюшенька станет примерным мужем, изменять жене не будет и оформит потомство. Папа Гоша же сделает за него всю остальную работу: позаботится об образовании внуков, а также возьмет на себя большую часть обязанностей руководителя. На том и порешили.

Конечно, Властимир оставался примерным семьянином. Все жалобы, которые раньше появлялись довольно часто, в обязательном порядке должны были проходить через него, чтобы потом перейти на стол Георгию Венедиктовичу. Как только сотрудники поняли, что что-то здесь не так, они решили сменить тактику и прийти к Георгию Венедиктовичу лично. Разумеется, их никто не принял, поскольку «Георгий Венедиктович человек очень занятой, понимаете? Оформите, пожалуйста, жалобу по следующей форме, а затем оставьте на столе. Я как его секретарша обязательно все передам.» Разумеется, никакие жалобы до Георгия Венедиктовича так и не доходили. «Простите, ничего не можем сделать. Вам нужно еще подождать, поскольку Георгий Венедиктович ну очень занятой человек, понимаете? Столько бумаг, столько бумаг! Может, и потерялись какие-нибудь, откуда же мне знать? Я хоть и доверенное лицо, секретарша его, понимаете, но не могу же я уследить за всем! Нет, электронные жалобы не принимаем. Георгий Венедиктович не доверяет этим вашим йебейлам или что там у вас нынче модно? Он занятой очень, у него даже этого, как ее, йебейла нет! Так что только

в письменном виде, правила такие. До свидания!»

Так и остались у Властимира Степановича только самые преданные сотрудники, которые все стерпят, даже филигранное, будто случайное попадание слюны в лицо, лишь бы не потерять свое обсиженное гнездышко. А все прочие — предатели. Так и передавал, за исключением влажных подробностей, самопровозглашенный трудоволик Георгию Венедиктовичу. Очень жаль, кстати, что предателям было куда уходить. Но этого Властимир уже не передавал.

Каждый новый день на рабочем месте начинался с прослушивания трудового гимна. Властимир Степанович собирал всех в обеденном зале, включал музыку со своего старенького телефона и громогласно распевал, разумеется, требуя от своих подчиненных участия. И они подпевали. Входя в особый экстаз, он даже подходил к ним, прислонял динамик телефона поближе к уху, чтобы тем было лучше слышно. Иначе как они запомнят столь прекрасные слова, сочиненные руководителем, и заботливо найденную музыку? Поднимая еще выше невообразимый боевой дух своих коллег, он внезапно тонким, но вполне естественным своим голосом заявлял:

— Что же, уважаемые калекки? — Володя плохо выговаривал конкретно это слово, — За работу! И да будет день сегодняшний плодотворным!

Коллектив часто поздравлял Властимира Степановича с самыми разными праздниками. Недавно они подарили ему на Всемирный день тигров огромного, заботливо сшитого одной из сотрудниц зверя. А на третье января специально собрались, пришли к нему домой и всей своей дружной семьей подарили Властюше сотню разных цветов и форм коктейльных соломинок.

Властюша ежедневно тратил по паре часов на то, что-

бы вычитать все праздники на каждый день его пребывания важным и могущественным человеком, ожидая самых разных вариаций получаемых подарков и поздравлений. Разумеется, если вдруг кто-то из подчиненных забывал поздравить его, то в ближайшие дни, очень аккуратно, при помощи различных поводов Властимир Степанович лишал провинившегося премии. Уж очень он был обидчивым, но, безусловно, справедливым начальником.

Четвертое апреля было для него особым днем. Мало того, что в этот день отмечается день крысы — любимого животного Властимира Степановича — четвертого апреля был его День рождения.

Властимир, разумеется, проснулся все с тем же чувством непомерно искусно исполняемого им долга, но именно сегодня он мог почувствовать свою важность и превосходство в разы больше, чем обычно. Но что-то было не так.

Год назад, четвертого апреля, его в кровати встречала золотце-жена. Она лежала обнаженной с ломтиками сыра на местах, которые наиболее желала скрыть от своего золотца-мужа, чтобы сохранить хоть какую-то утреннюю интригу. Властюшенька аккуратными движениями губ, больше похожими на предсмертные судороги выброшенной на берег рыбы, поглощал сыр, приговаривая заветное «Ой, да...». Он все также растягивал последний слог, как будто бы ему повезло вдохнуть запах свежескошенной травы, напоминающей о детстве, или услышать шум густых берез и раскидистых елей посреди леса после дождя.

Но сегодня ничего не было.

Властимир поднялся с кровати, осмотрелся в зеркале, параллельно обтирая ночную влагу под нависшей грудью и животом, не забывая про особо вспотевшую

шею и, конечно, пах. Он использовал уже пожелтевшее полотенце, которое почему-то никогда не стирал сам и не доверял своей жене. Та все же тайком раз в неделю выкрадывала тряпку, стирала, а затем опрыскивала разведенной гуашью, чтобы муж ничего не заметил. Выполнив свои утренние ритуалы, Властюша спустился по лестнице на кухню.

В том году его встречали радостные дети с наполненными гелием шарами, игрушками, подарками. На столе тогда были расставлены маленькие фигурки крыс, но глаз Властюши заметил критическую оплошность. Среди иных затесалась фигурка мыши. Отец семейства с кровавой пеленой в глазах бросился к столу, расталкивая ни о чем не подозревающих детей, схватил горемышь и, подняв ее высоко над головой, с эмоцией, сравнимой лишь со страхом Сатурна перед своими едва рожденными детьми, бросил ее с размаху на пол. Маленькая дочка в слезах упала на колени, сын в испуге тонко вскрикнул, мать подбежала их успокаивать. А Властимир стоял полуобнаженный и разглядывал осколки с совершенно величавым видом победителя. Но сегодня ничего не было.

Кухня встречала его ослепительной пустотой. Посреди нее на столе красовался одинокий бутерброд, проткнутый флажком с надписью «С днем рождения, папа!» Совершенно опешив от происходящих событий, глава семейства, не найдя никого в доме, оделся и отправился на любимую работу.

Зайдя в помещение, в свои обожаемые владения, Властимир Степанович поник еще сильнее. Весь офис совершенно спокойно работал и как будто бы совсем забыл о том, какой сегодня день! «Этого просто не может быть. Просто не может» — шел в свой кабинет и бормотал под нос Властюша. Его глаза медленно застила-

ла пелена. В ушах отбивал четкий ритм барабанщик, перекачивая ровными ударами кровь. Брови начинали дергаться, приглашая за собой в своеобразный танец широкий приплюснутый нос, прижатые к голове уши с обвисшими мочками, тонкие, едва заметные, но сольные губы и толстые пальцы рук с ухоженными ногтями.

Усевшись в кресло, Властюша проверил, та ли сегодня дата сначала на телефоне, потом на компьютере. После полез в Интернет в поиске ответов на вопрос, почему же никто его не поздравляет ни с днем рождения, ни с днем крысы! Властюшеньку переполняла злость, обида, отчаяние, пока он не увидел Лилию, свою особо обожаемую сотрудницу.

Та робко зашла в его кабинет, держа в одной руке стопку бумаг, но не постучалась, чего начальник не заметил. Она, как показалось Властимиру, намеренно слегка оголила плечи и наклонилась вперед, облокотившись ладонью на стол. Маленькие глазки, смотрящие на нее в упор, заблестели. Лилия сообщила начальнику, что у нее есть для него кое-что интересное. Сначала он не понял, о чем идет речь. «Неужели она единственная подготовила мне подарок?» — задумался Властюша. «Нет, не может этого быть» — решительно оспорило эго.

— Лилия, дорогая, ты же наверняка догадывалась, что ты моя особо обожаемая сотрудница — такое трудолюбие еще нужно поискать! — он положил свою ладонь на ее, слегка обхватив. — Не будешь ли ты так добра сказать мне, какого рода кое-что у тебя припасено?

— А Вам разве не совсем понятно?

С левого плеча Лилии как будто нарочно опал короткий рукав. Она попыталась было поправить его, но Властимир слегка прижал ее ладонь к столу. Не подав виду, Лилия продолжила:

— По-моему все предельно ясно. Сегодня в 17.30 буду ждать Вас у себя. Прошу, не опаздывайте, и купите что-нибудь на стол. Мы же будем праздновать!

Улыбнувшись и поправив ткань, Лилия спешно покинула кабинет, оставив Властимира Степановича в полном недоумении. «Что ж, — подумал Властюша. — кажется, немного сыра я сегодня все-таки съем». Затем слегка поморщился — вспомнил жену и детей, папу Гошу. Перед глазами всплыл только что увиденный так необычайно близко стан. Тонкая в складках и морщинах шея, по-старчески опустившаяся грудь, обтянутая сморщенной кожей с родинками, напоминающими Властюше звездное небо, секущиеся блестящие волосы с исходящим от них любимым спертым шлейфом. Улыбка навесным мостом растянулась от уха к уху Властюши, а в сознании звучали лишь слова Лилии: «Сегодня... 17.30... Не опаздывайте».

Подойдя к подъезду в 17.27 (Властюша постоянно сваялся с часами, чтобы прийти чуть раньше), он вдохнул полной грудью цепкий воздух, смешавшийся с уличной сыростью и дымом заводов, и позвонил в домофон. Из дверей прохрустел хриплый тонкий голосок, спровивший «кто», и дверь распахнулась. Одутловатое тело Властюши источало влагу и наполнялось волнением все больше с каждой пройденной ступенькой, которая вела его к заветной двери. Там его ожидала все в той же соответствующей дресс-коду одежде Лилия.

Проводив начальника в дальнюю комнату и усадив на диван, Лилия по-матерински ласковым голосом приказала ему подождать ее, пока она разложит по тарелкам принесенную им сырную нарезку и колбасу, чтобы начать отмечать все сегодняшние праздники.

— Кстати, как вам моя масочка? Нравится? Осталась с прошлого года. — она указала на бумажную морду

крысы с длинным, с черной бусинкой на кончике носом и вышла.

Властюша все метался от мысли к мысли, руки дрожали, глаза бегали по комнате, а складки наполнялись потом. Идея снять пиджак, а затем выглаженные брюки и рубашку пришла естественно. Рука сама потянулась к маске. Он уже представлял, как будет слизывать плавленый сыр с сосков Лилии. Как жадно губами будет доставать заветный чеддер из самых непредсказуемых мест на теле своей особо обожаемой сотрудницы. Как будет пищать в момент конечно же множественных пиков их совместных крысиных бегов Лилия. Как он впустит ее в свою тайную темную обитель, в которой не была даже жена, дабы она достала до самых глубин его могучей крысиной души, вложив туда самый особенный кусочек сыра.

Услышав шум за стеной, Властимир Степанович был уже готов: диван был разложен, на нем лежа расположился сам Властюша, скрестив ноги и заложив руки за затылок.

За приоткрывшейся сквозняком дверью послышались множественные голоса.

В ту же минуту в комнату ввалилась толпа в пушистых мышиных костюмах. Первыми вошли дети Властимира Степановича, затем коллеги, включая Лилию. Следом, протиснувшись вперед сквозь толпу, вошла жена, держа в руках большой, сочный, пропитанный сладким, липким сиропом и сливочным кремом торт. За ней папа Гоша в костюме-тройке с пластиковым ножом.

— С Днем рождения, папочка!

Глаза наполнились кровью, руки задрожали еще сильнее. Пот застилал глаза, скапливаясь на ресницах, стекал в ноздри, а затем громоздко сваливался на губы.

— Мыши! Крысы! Крыса! Крысы! Крыса!

Дети, закрыв лицо мохнатыми лапками, истошно вопят от ужаса. Жена с расслабленным выражением лица, с прилипшей ко лбу тыльной стороной ладонью теряет сознание и стремится упасть на пол. Торт взлетает к потолку, разбивается о него, жирный крем разлетается в стороны и падает на головы и лица присутствующих. Какая-то его часть падает на пол. Пара сотрудников подставляют руки под обморочное падающее тело, кто-то наклоняется и делает шаг в сторону кухни, чтобы принести воды. Другие смотрят то друг на друга, пряча за ладонями смехи, то впиваются взглядом в раздутое плотное тело, выпучив глаза и широко разинув рты. Кто-то пальцами собирает с лица крем и пробует его, слизывая языком. Лилия, присевшая почти до земли, указывая пальцем на мохнатое причинное место, куда в том числе попал крем, прикрывает рот ладонью в наплывающем волнами шоке. Георгий Венедиктович, устремившийся всем телом в сторону Владимира Степановича, с лицом, отражающим не просто гнев, а нечеловеческую ярость, истерику, со сливочной каплей на носу и левой брови, перехватив пластиковый нож лезвием вниз, замахивается над потной тушей. Немногие оставшиеся без действия гости стоят столбами.

Занавес опускается.

ХИЩНИК

Иногда по утрам бывает очень трудно просыпаться — весь день потом существуешь с желанием поскорее вернуться к своему любимому дивану и лечь спать. Потягиваешься, смотришь в окно, тянешься к полупустому стакану с водой, заведомо приготовленному на ночь, делаешь пару-тройку глотков, откашливаешься, протираешь глаза и, наконец, встаешь. В голове совершенно пусто — только небольшая, но неумолимо сковывающая все остальные рвущиеся пробудиться мысли боль раздражает волосы, глаза, кончики пальцев и само тело в целом. Такие утра часто бывают у людей, которым приходится заниматься чем-то нелюбимым. В конец концов, кто же будет вставать на любимую работу в такую рань и посвящать целую жизнь этим пробуждениям?

Но Виталик никогда не думал об этом. Каждый день он неумолимо просыпался, стаскивая свое грузное тело, начиная с ног, на пол. Он выпивал целый стакан воды, к которому ни разу не притронулся за ночь, разминал свои словно обтянутые черевой и зафиксированные тонкими ниточками пальцы. После начинал массировать окорокоподобные щеки ровно до того момента, пока они не начинали наливаться свежей кровью и источать жар. Тоже самое он проделывал и с ушами. Ему очень нравилось разгонять кровь по своему застывшему телу, как будто снова вливая в него жизнь. Затем, вставая с дивана окончательно, он пару раз хлопал себя ладонями по плотному, больше похожему на обтянутый кожей барабан, животу, как бы играя марш нового дня.

Вид за окном своей квартиры, которую он делил с ба-

бушкой и матерью, каждый раз впечатлял Виталика, как в первый. Вечно куда-то несущиеся машинки, стройные ряды пробегающих человечков, обшарпанные временем домики погружали его в те времена, когда он мог себе позволить незаметно собрать множество игрушек у своих товарищей из детского сада. Потом принести их домой, расставить, как хотелось только ему. Соорудить целые улицы из запачканных жиром и пылью деталей конструктора и наблюдать за происходящим, придумывая каждой машинке, каждому человечку, зверьку, птичке и даже домику свою историю.

Другое дело, что эти истории периодически повторялись, отличаясь лишь самой фигурой, которой то или иное действие приписывалось. Но это было не так важно, в отличие от самого ощущения Виталиком власти создателя. Он мог оторвать человечку руку, зверьку — голову, а птичке обломать крылья и заставить всех своих персонажей плясать вокруг этих обделенных существ. А мог и соединить сердца фигур, проходящих мимо друг друга вдоль выстроенной улицы, дать надежду на изменение привычной истории, которого, впрочем, не происходило.

Но чаще Виталик просто смотрел.

Похлопав себя по животу еще раз, он уходил от окна, надевал куда-то завалившиеся трусы и носки и, спустя некоторое время, ушедшее на поиски своего белья, шел наконец умываться. Этот этап утра нравился ему больше всего. Виталик потихонечку выдавливал пасту на расщеперенную зубную щетку, набирал в рот воды, булькал ей довольно долго, вода сжатыми губами в разные стороны, как будто заигрывая со своим отражением. Затем жидко сплевывал, разбрызгивая воду по ра-

ковине так, что попадал даже на зеркало и свои слегка пожелтевшие трусы. Наконец, он оголял кривые ряды зубов и очень быстрыми движениями водил зубной щеткой то вверх, то вниз. От такой продуктивности смесь из пасты и слюней разлеталась по всей ванной комнате. Затем Виталик все так же жидко сплевывал остатки, шлепал себя по щекам и, прихорошившись и надев очки, шел собираться на работу.

Мать и бабушка давно перестали обращать внимание на беспорядок, оставляемый своей кровиночкой, и смиренно вытирали за ним остатки слюны и зубной пасты, оставшиеся в ванной. Пересекаться с ним утром им не хотелось. Поэтому Мария Николаевна завела себе еще с детства своего сына правило, заключавшееся в полном избегании чада до обеда. К этому она приучила и свою мать, Зою Викторовну, когда той пришлось переехать к ним из-за незначительных, как думалось Виталику, проблем со здоровьем. «Чего там какое-то сердце? — думал он. — Колотится и колотится, моторчик-то просто так не выключишь. Только больше ртов кормить». Родители и здесь не пытались перечить своему чаду, поэтому бабушка старательно отсиживалась в комнате вместе с дочерью. Днем, когда сынок уходил на работу, они выходили на кухню, чтобы что-нибудь приготовить — отдельно для себя и отдельно для Виталика — а иногда и в тайне выглаживали его белье, рубашки, брючки, чтобы как можно меньше людей считали его кем-то недостойным. Иначе, как это? Риелтор, и в мятой рубашке, в засаленных брючках, в обуви неухоженной. Так не делается.

И не делалось.

Одевшись, Виталик выходил на свою любимую рабо-

ту. Талант продажи он обнаружил в себе еще в школе, когда аккуратно заимствовал у одноклассников ручки, стирательные резинки, карандаши. Иногда дело доходило и до пеналов, которые он брал у не особо переживающих за свое образование учеников. Затем Виталик менял эти вещи на что-то более полезное для себя. Например, на полежавшую пачку жвачки, полупустую ручку с портретом своего любимого супер-героя, на использованный, но старательно вымытый презерватив (их Виталик брал исключительно для шалостей), на размолотую и промасленную пачку доширака и даже на пустую зажигалку. Все эти товары Виталик аккуратно складывал в свой рюкзачок и шел домой, перекладывая «купленное» добро в так называемый ларчик.

Однажды, у матери возник вопрос, почему в ящике стола ее сына лежит какой-то невнятный мусор. Не найдя ответа, она собрала все в кучку, сложила в пакет и с чистой совестью вынесла в мусорный бак на улицу. В то же время Виталик как раз возвращался домой после очередных школьных торгов. С глазами свиньи, усмотревшей нож в руках своего хозяина, он бросился к пластиковому чудовищу лишь только заведя завернутый в фантик леденец. Он припрятал его в свой ящик только вчера, выменяв на пенал своего одноклассника. Негодованию Виталика не было предела, когда, зарывшись в гниющей банановой кожуре, использованных прокладках, заветренных жировых прослойках куриного филе и прочем мусоре, не смог найти ничего, кроме парочки открытых пачек жвачки и еще одного леденца, к которому уже прилип песок, волосы и муравьи.

Он проклинал свою мать, свою жизнь, поднимался по лестнице до квартиры, опять спускался, плакал,

кричал, но никто не вышел на вопли страдающего ребенка, потерявшего самое ценное в своей жизни. С этого момента Виталик старался не разговаривать с матерью. Она пыталась отвести его ко врачу, узнать, что с ним не так, но любая попытка оказывалась напрасной. Во время приема мальчик просто вел себя так, как требовали нормы приличия и морали, а потом все начиналось сначала.

Виталик часто переводился из одной школы в другую. Было ли это связано с его талантом к торговле, или, может быть, матери было стыдно ловить взгляды школьников, иначе говоря, торговых партнеров сына, когда они проходили мимо. Но так или иначе будущему риелтору удалось закончить школу и поступить в местный университет.

Учился он ни плохо, ни хорошо, но не пропустил ни одной пары. Преподаватели, конечно, думали, что это связано с его исключительным интересом к наукам. Но Виталик имел совершенно иную мотивацию. Как это ни странно, его очаровала миловидная Жанночка с филологического факультета, которую он до сих пор периодически вспоминал.

Работа риелтора, как известно, требует высоких нагрузок. Поэтому Виталик всячески пытался оградить себя от ненужных переживаний и расстройств. Показывая квартиры клиентам, он проводил свой особый ритуал удачи, дающий ему прилив жизненной энергии. Виталик всегда заходил в квартиру первым и быстро шел в туалет, убедительно прося своих клиентов подождать снаружи. Закрываясь внутри, он задирал аккуратно выглаженную рубашку до груди, вываливая обтянутое плотной кожей пузо, смачивал ладони под проточной

водой и хлопал себя по животу, издавая гортанные звуки, больше похожие на брачные песни морских слонов. Если это были хозяева квартиры, ритуал не слишком отличался. Он также учтиво просил их пропустить его в уборную, чтобы умыться, и совершал действия, обеспечивающие его жизненное богатство. Затем, заботливо вытерев свой живот первым попавшимся под руку полотенцем, Виталик заправлял рубашку, приглаживал волосы, становился перед зеркалом и произносил клятву риелтора: «Мне дарованы богатства земли. Да не оскорблю я никого своим словом и выбором квартиры. Да буду я милосерден к вдовам и сиротам, давая им возможность разбить комиссию на два месяца. Да не буду же я вступать в ссору неправомерную, даже если причина кроется в недостатке процента за мой великий труд. Да укажу я наиболее выгодное предложение для себя и, конечно, своего клиента. Я — свет во тьме. Я — риелтор».

Каждая успешная сделка приносила Виталику непомерное удовлетворение, поскольку он видел явственно до жути, как люди бесконечно радуются совершенной сделке, как молодые семьи формируются прямо у него на глазах, как бабушки и вдовы прощаются со своим имуществом, роняя еле заметные слезинки на ковры и ламинат. Как же Виталик переживал, что никогда не сможет стать ковром, чтобы впитать их слезы и раствориться в приносимой им пользе обществу; как же он переживал, что не может в тот момент, пока слезинка не высохла, слизать ее с блестящего ламината, ослепляющего своим отражением. Но тут же, чтобы совсем не погружаться в пучины расстройства, он вспоминал Жанну.

«Ах, Жанна, Милая Жанночка, как же ты прекрасна в моих теплых о тебе воспоминаниях! Как же сильно я скучаю по тебе, о, Милая Жанна!» — проносилось в сознании Виталика.

Он вспоминал, как Жанна читала стихи в актовом зале, как Жанна изящно играла и старух, и даже Гвиневру в любительском театре при университете, как Жанна танцевала, как Жанна шла, какой Жанна была и наверняка есть!

В этом потоке мыслей ничто не могло остановить Виталика на очередном пути в туалет. Он просил прощения, извинялся, жаловался на совсем подорванное здоровье и вечно подводящий кишечник, совершенно не стесняясь подробностей о качестве своих выделений. В итоге, пробивая всевозможные препятствия и отказы клиентов, он добирался до туалета, спускал аккуратно выглаженные брючки, стягивал вниз слегка пожелтевшие трусы и начинал онанировать, вспоминая Жанночку, Милую Жанну! В этот момент непомерного экстаза, когда эндорфины, что называется, бьют в голову, в голове Виталика звучала шутка, так часто генерируемая им, но ни разу не сказанная: «Филфак — feel fuck». Немножко сутулясь, сдерживая свои смешки, прерывисто дыша, он заинтересованно, по-тараканьи водил своей плешивой черточкой над верхней губой, и, наконец, спускал семя в унитаз.

Приведя себя в порядок, в очередной раз похлопав себя по пузу, Виталик выходил из туалета, извинялся и поспешно двигался к следующему клиенту, где история повторялась вновь.

Так Виталик проводил свои рабочие дни. Как знать, может быть именно потому, что он уделял много вре-

мени своим ежеквартирным обрядам, его показатели, а соответственно и заработная плата, не были достаточно высокими. Виталик думал, Виталик знал, что ему должны платить гораздо больше. Настолько тяжелый труд, как работа риелтором, найти очень сложно! Поэтому чаще всего он уходил из компании самостоятельно.

Наконец, придя домой с работы, Виталик размеренно, но очень воодушевленно шагал в свою комнату. Он бросал в угол свою аккуратно выглаженную рубашку и такие же аккуратно выглаженные брючки. Потом садился за свое рабочее место, как он его называл, включал компьютер и заходил на свой любимый «сайт с девочками». Очки он обычно клал прямо на стол, но сегодня почему-то решил переложить их на прикроватную тумбочку. Ему хотелось ощутить больше простора, чем обычно.

Похлопав себя по животу, растерев окорокоподобные щеки и уши, он начал скролить ленту, постепенно спускаясь левой рукой к своим уже сильно пожелтевшим трусам. Засунув руку под резинку, он потихоньку начал перебирать сарделевидными пальцами своих свидетелей мужественности.

Внезапно, когда эрекция практически достигла своего пика, Виталик остановился. Направив курсор мышки на одно из окон и открыв его, он увидел женщину, сидящую на офисном стуле. Она закинула ноги на стол, как на приеме у гинеколога. Затылок прижимался к стене. Она тщетно пыталась засунуть в себя что-то похожее на кабачок, обтянутый презервативом и смазанный толстым слоем вазелина. Вполне возможно было разглядеть неравномерное его нанесение, как плотны-

ми масляными мазками на холсте.

То была Милая Жанна.

Глаза Виталика налились кровью, эрекция вдруг достигла нового пика, ранее невиданного им. Женщина корчилась то ли от боли, то ли от ощущения грядущего удовольствия. И Виталик не отставал. Его рука носилась вверх-вниз примерно с той же интенсивностью, с которой он чистил зубы каждое утро. Глаза впивались в каждую точку на теле Милой Жанны.

Виталик плакал и онанировал. Онанировал и смеялся.

Кто знает, сколько бы это еще продолжалось, но спазм такой силы, который он не ощущал до этого, пробил его тело насквозь, и Виталик начал эякулировать. Сперма попала на стол, на монитор компьютера, на клавиатуру, на брошенный телефон, на сильно желтые трусы, на уже затвердевшие носки, на обтянутый толстой кожей живот, на окорокоподобные щеки, на плешистую черточку над губой и на очки, аккуратно сложенные на прикроватной тумбочке.

Милая Жанна закричала. Кажется, что-то вроде кабачка все-таки смогло протиснуться в нее, но не без последствий. Она истошно вопила, как будто что-то начало медленно разрывать ее. Кровь, смешавшись с вазелином и естественной смазкой, полилась с ног, впитываясь в обивку стула, а затем ритмично капала на пол. Жанна попыталась встать, но у нее ничего не вышло, после чего она лишь продолжила истошно кричать.

Виталик закрыл вкладку, попытался вытереть изверженное им семя и, потерпев неудачу, в бессилии развалился на стуле.

В его сознании мелькала танцующая Жанна, читающая стихи Жанна, играющая Гвинеvру в театральной постановке Жанна и Жанна на гинекологическом столе.

Он смахнул скупo скользящую по щеке слезу, пригладил волосы и лег на кровать, даже не приготовив стакан воды на ночь. И широко улыбнулся.

СВЯТОЧНЫЙ РАССКАЗ

Горбатого могила исправит...
Поговорка

В небольшом зале, освещенным яркими люминесцентными лампами, выкрашенными бежевой краской стенами, с педантично выложенным, местами сильно потертым линолеумом, с выставленными рядами стульев, купленных в магазине «Все для офиса и дома», находилось около двадцати человек. За внушительных размеров столом, будто украденным из кабинета химии или физики, но старательно перекрашенным и облицованным под иные нужды, сидели три женщины в черных мантиях и белых, повязанных вокруг шеи, платочках. Андрей Андреевич вместе с коллегами находился позади своего защитника, попеременно дергая ногой в такт заевшей в голове мелодии, и смотрел в окно.

Легкие снежные песчинки, срываемые ветром с ветвей тощих елок, кружились, выписывая незамысловатые узоры, линии которых Андрей рисовал в своем сознании, чтобы как-то отвлечься от происходящего. Правда, едва ли у него получалось удачно. Бесконечные монотонные разговоры, жалобы, объяснения, зачитывания статей из различного рода кодексов угнетали и без того раздосадованное состояние. Лампы, жужжа, периодически моргали.

По правую сторону от него, через небольшой проход между рядами стульев, находились еще несколько человек, одетых, за редким исключением, во все черное. Сжимая в руках небольшие платочки, пропитанные разного рода влагой, они иногда сверлили взглядом как

коллег Андрея Андреевича, так и его самого. В такие моменты платочки не просто сжимались, а скорее служили небольшим препятствием для того, чтобы ногти, впиваясь в ладонь, не повредили кожу. Отводя в итоге взгляд, не рассчитывая получить на него ответ, эти люди бегло осматривали зал, вглядывались в мелькающие белые песчинки за окном, внимательно слушали говорящих и, потупив взор, промакивали глаза все тем же платочком.

Сам Андрей старался не то, чтобы не смотреть на них, а даже не замечать.

Внешне по нему нельзя было сказать, испытывает ли он хоть какие-то муки совести или просто отчужден. Одетый в хлопковый серый кардиган, растянутый в животе, локтях и рукавах, в потертые, заштопанные, как будто снятые с отца, джинсы и туфли с множественными заломами, напоминающие кожу на локтях старика, Андрей все так же глядел в окно, когда почувствовал странную боль внизу живота. Ледяной пот выступил на лбу, скапливаясь в прозрачные жемчужинки, скатывающиеся по плотному круглому лицу, застревающие на тоненьких бровях и редких ресничках. Крошечные глазки, едва различимые за холмами щек, забежали по залу в поисках хоть кого-то, кто смог бы подсказать ему решение проблемы.

Кто бы мог подумать, что в таких обстоятельствах именно его настигнет несварение?

Уличив удачный момент, когда в помещении воцарилась короткая тишина, Андрей резко встал, опершись на стул перед собой, и мямля, пережевывая, проглатывая звуки, нараспев выводя окончания, произнес:

— Уважаемая... председатель! Разрешите... — показал

в сторону дверей, — У меня нужда!

Но Андрею никто не ответил. Более того, никто даже не посмотрел в его сторону. Простояв некоторое время в тишине, нарушаемой лишь его сбивчивым дыханием и жужжанием моргающих ламп, Андрей, не дожидаясь ответа, протиснулся вдоль рядов стульев, узких коленей, опустившихся плеч и свисающих с шей голов, и медленно, со скрипом приоткрыл дверь и юркнул в коридор.

Вне зала никого не было, кроме одинокого охранника, блаженно дремавшего за столом у турникета. Он спал, положив под голову руки, как бы прячась от и без того тусклого света ламп. Стены были покрыты зеленой, местами топорщащейся краской, спешащей отколоться при малейшем прикосновении. Коридор был узок настолько, что Андрею, учитывая все его габариты, приходилось двигаться боком, оставляя на кардигане зеленые осколки.

Охранник никак не реагировал на пытящее тело, неумолимо приближающееся к нему, а в следствие неотреагировал и на просьбы подсказать, где находится туалет. Он лишь слегка отмахнулся рукой и что-то проворчал себе под нос, как бы отгоняя легкий кошмар.

Увидев синюю табличку с желтоватой выцветшей указательной стрелкой и буквами, Андрей Андреевич двинулся дальше до заветной двери. Шел он уже быстрее, собирая еще больше зеленых осколков на кардиган. Сама близость облегчения действовала на кишечник пагубно.

Наконец, открыв дверь и вдохнув запах плесени и затхлой мочи, ослепленный внезапным ярким светом, Андрей выбрал единственную кабинку, где дверь еще

держалась на петлях. Он пробежал по местами расколотой серой плитке и в раздумьях остановился перед унитазом. Лишенный стульчака, с ободком, испещренным упавшими застывшими каплями, мелкими завитками волос и светло-коричневыми следами обувных протекторов, он не внушал особого доверия. Неспособный более сдерживаться, Андрей Андреевич прикрыл глаза и, спустив джинсы одним движением, уселся, одновременно закрыв дверь на щеколду.

Живот тянуло из стороны в сторону. Андрей головой уперся в дверь и скорчился в гримасе колющей боли, распространявшейся, как ему теперь казалось, по всему кишечнику.

Но ничего не получалось.

Загривок стал влажным, как после подъема по лестнице. Капли пота со лба больше не задерживались на бровях и ресницах, а, формируя снаряды, сбрасывались, с грохотом разбиваясь о кафель. От потуг кровь забурлила во всем теле, отчего крупные, туго обтянутые кожей пальцы стали неметь, лицо пунцовать, вены вздыматься десятибалльными волнами на висках и шее. Глазенки, теперь похожие на разрисованные красным карандашом в руке школьника контурные карты, наполнились кровью. Уши двигались в такт напряжению в теле, отражавшемуся на лице, совершенно игнорируя посторонние звуки, воспринимая только учащенное биение сердца, как будто голову положили на рельсы перед несущимся поездом, нагруженным углем. Или кто-то неизвестный в тяжелых армейских сапогах расхаживал внутри черепа быстрым стройным маршем. А может какой-то заключенный из фильмов детства звенел цепями о решетку камеры.

Неизвестно, сколько бы Андрей Андреевич мучался еще, если бы не увидел бледную худощавую кисть, синюшные вены которой ветвились крупными реками. Воспаленные в суставах скрюченные пальцы вцепились неестественным движением в нижнюю границу двери кабинки. Вторая такая же рука медленно начала двигаться по плитке, попеременно подтаскивая себя, цепляясь за щели бугристыми пожелтевшими ногтями. Следом, под дверью, скрипя кожей по влажному полу, боком пролезла голова с редкими клоками тоненьких седых волос, едва покрытая сползающей от движения к шее шелковой косынкой. Руки легли на дверь и пол, едва не задев Андрея, нашли опору, позволив тоненьким плечам, соприкоснувшимся друг с другом в спине, как надломленные птичьи крылья, просочиться сквозь проем. Далее показались тряпичные тапочки, которыми были обуты стопы. Ноги протянулись вперед, вслед за ними корпус, и бескостная масса начала подниматься перед Андреем Андреевичем, откинувшимся на туалетный бак.

Перед ним стояла старушка в заботливо выглаженной черной блузке с редким белым кружевом, преимущественно расположенным вокруг ворота, в такой же выглаженной черной вельветовой юбке с редкими прилипшими тоненькими седыми волосками, в бежевых теплых колготках и тапочках. Косынка осталась на кафеле. Старушка была бледна, как накрахмаленная простынь. Осунувшееся лицо с редкими, едва заметными родинками, полное морщин, напоминало смятую салфетку, которую затем развернули, чтобы использовать повторно. Широкие глаза впали настолько глубоко, что, казалось, образовали темные кратеры давно спя-

щего вулкана. Их желтые, с редкими красными вкраплениями белки не блестели.

Тело Андрея сковал животный страх, но не его кишечник. С громким хлопком напряжение его отпустило.

Скрипучий высокий голосок нараспев подхватил наступившую тишину.

— Здравствуйте, Андрей Андреевич. Или может лучше Данила Викторович? А может Сергей Витальевич? Или скорее Антон Игнатьевич? Как вам больше нравится? — Андрей замер в испуге и непонимании, — Знаете, я бы хотела поделиться с вами парой историй, если позволите. Понимаю, момент не самый удачный, как вам могло бы показаться, но напротив. Вы еще поймете, не переживайте, чего глаза так вытаращили? Ну-ну-ну, не кричите, мало ли кто нас услышит, не заставляйте меня закрывать вам рот рукой.

Андрей приосанился и, заикаясь, пробормотал:

— Ты кто такая? Как?

— Дорогуша, это совсем не важно. Я расскажу попозже, всему времечко-то придет свое. Как ты думаешь, хорошим парнем был? Добрым? Отзывчивым? Понимаю, у всех свои грешки, но этот вопрос скорее, что называется, риторический. Вот какие слова знаю, погляди!.. Что ты, не пугайся моей руки, я всего лишь пульс хотела проверить. Шустрый какой! Не волнуйся, родненький, все хорошо. Не волнуйся, еще раз говорю, мне только присесть надо, косточки уже не те, сам понимаешь ведь, наверное, да? Бабушка у тебя была хорошая женщина, все грехи свои на тебе искупить пыталась... А помнишь Светлану Федоровну-то? Чегой головой-то мотаешь? Забыл, что ли? Пятьдесят восьмого года рождения ко-

торая, вдова, внучок да доча – все что у нее за душонкой и было-то. Даже подруги – и те поумирали одна за другой же. Ты ж скока названивал-то ей, не помнишь? Чево головой мотаешь? Не так-то давно это и было-то... Али врешь? Врать мне не надо, зря это ты. Но успокою, с ней все хорошо, не переживай.

Сначала Андрей Андреевич не понял, что конкретно произошло. В какой момент его коснулась ледяная, как будто заиндевевшая, рука и как он оказался со спущенными джинсами на диванчике в банке, ожидая своей очереди. Он попытался встать – не получилось; пошевелить рукой, ногой – не вышло, только шея исправно вертелась, позволяя оглядеться.

Людей вокруг было немного, лишь двое сотрудников за мелкими столиками напротив компьютеров и пара тройка посетителей, двоих из которых обслуживали. На соседнем диванчике сидела бабушка, одетая в сиреневый пуховичок, мягкий шерстяной шарфик в редкую красную полосочку на белом фоне, дешевенькие и местами протертые черные брючки и зимние коричневые ботиночки. Маленькую голову покрывал небольшой беретик с козырьком, больше напоминавший фуражку, покрытую коротким искусственным мехом. В руках она сжимала небольшую тряпичную сетку с кармашком на внешней стороне, из которого выглядывал обложкой паспорт и другие документы. Телефон она держала в кармане, периодически проверяя, не звонит ли кто. По правую руку, на том же диванчике, где сидел Андрей, расположилась гостья из кабинки.

— Помнится, ты ей днем еще названивать начал, улучил момент, когда дома никого не было, да начал голову морочить, де, за ней мошенники уже полгода охотят-

ся, на госуслугах у нее что-то там взломали, раскрыли, присвоили, деньги все выкачивать начали, кредиты берут, а чтобы в долгах не остаться, нужно в банк прийти и взять кредит на мебель и отправить деньги на другой счет, не помнишь? А в банке-то ничего говорить лишнего нельзя, там же тоже воры и иуды сидят! А внук-то ее как перепугался... Подходит к подъезду, видит же, бабушка в такси садится и отмахивается от родненького, де, не подходи, мне ничего говорить нельзя и уехала куда-то. Странные вы люди, да? Надо же придумать такое.

Чего это ты нос-то повесил, молодчик? Смотри, вот доча-то с внучком заходят, сейчас ей рассказывать-показывать все будут, что дело-то тут не такое простое. Погляди, перепугалась она как, палец к губам подносит, де, тише-тише, воры да мошенники вокруг тут. Надо же, да? Смотри, сейчас очередь до них дойдет, им сотрудица и расскажет, что многие так уже сюда приходили, да она их лично выпроваживала, никаких кредитов не давала. А как домой поедут – так хохотать над тобой будут, родненький!.. Ну, не обижайся, чего ты, душенька ранимая. Помнишь, ты как звонить начал-то еще разок, каких слов наговорил там, а? С внучком-то беседовал когда. С пеной у рта злился сидел, найти обещал, отпугивать, что ли... Все не пойму никак, что значит-то это? Не объяснишь? Ой, а наговорил-то еще, что, де, бабка твоя камень возьмешь да в реку прыгнет, если ты попросишь. Стыдно-то было потом, скажи?

Андрей молча хлопал глазами.

В то время, пока старушка рассказывала историю, ее облик постепенно менялся. Местами кожа начала синеть и покрываться странными пятнами, а тело то и дело местами раздувалось и сдувалось обратно, как

будто что-то бурлило в ней и медленно переворачивалось. Левый глаз периодически косил, но пальцем она довольно ловко сдвигала его на место. Тоненькие волоски головы постепенно опадали на плечи и вельветовую юбку.

Влажные жемчужины крупно выступали сначала на гладком лбу Андрея, а затем снова копились на тонких бороздках бровей и редких ресничках. Пот пропитывал кардиган, отчего тот неприятно лип к телу, сердце продолжало обильно перекачивать кровь, работая на пределе возможностей. Вместе с плотными пальцами рук начали постепенно неметь ступни, отчего казалось, что маленькие муравьи своими тоненькими щупленькими лапками прогуливались по его титаническим икрам, иногда приближались к бедрам и даже чуть выше, спешно покусывая ягодицы и убегая.

Откинув голову на стену, Андрей закрыл глаза и попытался прийти в себя, надеясь, что все это какой-то безумный сонный паралич, что все ненастоящее, ложное, выдуманное. Но открыв их снова, увидел лишь белесый от слоящейся побелки потолок, яркий свет, а опустив голову ниже – старушку. Она сидела на полу, боком к унитазу.

— Блять... Ну, стыдно, наверное...

Старушка как будто не заметила ответа:

— Ой, а помнишь Анатолия Палыча? С ним-то ситуация погрустнее получилась... Али опять не помнишь? А, головой мотаешь, не помнишь значит. Дай-ка поднимусь, ножки мои затекли, не бойся, обопрись о тебя и встану. Чего, рука холодная? Что ж ты сразу весь продрог-то, а, миленький? Не волнуйся, не съем я тебя, бабка старая.

Андрей оказался за довольно большим прямоугольным столом-раскладушкой, сидя на крепком стуле. Стол был накрыт синей скатертью, расписанной новогодними узорами: Дед Мороз со Снегурочкой, снежинки, украшенные разными праздничными игрушками и снежными шапками елки и все такое прочее, что присуще новогодним скатертям. Оставив попытки подняться, Андрей Андреевич начал осматривать комнату.

Позади него находился шкаф-стенка, как из советских фильмов, нагруженный с одного края различного рода узорчатыми хрустальными салатницами, бокалами, стопками, рюмками, стаканами, фарфоровыми чашками, блюдцами, маленькими ложечками. Другой край шкафа был заставлен множеством книг, начиная русскими классиками, заканчивая литературой по правильному воспитанию собак и пособиями по смешанным единоборствам. Посреди стенки, под крошечными полками, заставленными разного рода фотографиями и безделушками, расположился старенький кинескопный телевизор, транслирующий выступления разного рода и качества артистов с довольными и счастливыми лицами. Из зала с нескрываемым упоением и вкрадчивой завистью на них смотрели другие, более отягощенные глаза.

Вся комната (к слову, довольно ухоженная, с мягкими бежевыми обоями и ворсистым ковром) была украшена разнообразной мишурой и гирляндами. В углу стояла небольшая искусственная елочка, переливающаяся разными яркими цветами. Под ней стояли несколько пестрых коробок. Где-то с улицы доносились хлопки салютов и радостные возгласы гуляющих. Огромными хлопьями, практически сравнимыми с ладонями Ан-

дрея Андреевича, кружился снег.

За столом также сидели еще несколько человек. Мужчина и женщина – по-видимому, супруги – расположились на диване, а старичок сидел у изголовья стола на стуле. Они держали в руках бокалы, о чем-то беседовали, иногда делали пару глотков, ели, а после возвращались к обсуждению. Дети бегали из стороны в сторону и, размахивая руками и ногами, пытались танцевать в такт музыке, доносящейся из телевизора.

Старушка сидела на подоконнике у балкона по левую руку от Андрея, держа на коленях горшок с фиалками и обмотав тюль вокруг головы, как платочком.

— Анатолий-то Палыч в ловушку твою попался. Помочь-то некому было, сам себе на уме, бедолага. А внучата с детками в другом городе, а супруга-то его вообще в больнице лежит все еще, бедная. Он-то, дурак, в банк приехал, мол, на мебель кредит выдайте, будьте людьми, доче хочу подарок сделать на новоселье. В общем-то, все, что вы ему там наговорили-то, то и сказал. Ах, простой человек, чево взять-то? Ну, разумеется, вы выиграли тогда, довольные. Денежки-то ты явно не на кардиганчик потратил, а, милок? Знаешь, а Толик-то все равно молодцом держится. Детки у него понимающие, что ж делать-то теперь? Одного его не оставят больше. И правильно. А стол-то, кстати, погляди какой собрали, а? Да и подарки какие-то внучатам под елкой... Конструкторы эти что ль новомодные? Из закровов, поди, Анатолик-то с детками своими денежку достали, а?

Не сказать, что на был наполнен широким разнообразием блюд, но можно сказать точно, что люди, его составляющие, хотели привнести чувство праздника в

дом. Хрустальные салатницы, которых недоставало в шкафу, были приспособлены под оливье, селедку под шубой и другие привычные Новому году салаты. На широких расписных блюдах расположились горячие закуски: запеченная по-деревенски картошка, тушеное, предварительно часами мариновавшееся мясо, рыба, запеченная под неизвестного состава шапкой, креветки в медовом соусе.

Старушка, отпустив тюль и поставив горшок на месте, прыгнула с подоконника и наклонилась над столом.

— А чево это, курветки эти, что ли? На глистов каких-то толстых похожи, ети мати. Анатолик-то небось не только с пенсии подоставал денежку-то, колечко, похоже, старенькое заложил, а? Каков мужчина, ну... Поди еще и на подарочки осталось, что там, под елкой-то стоят. А, смотри! Сейчас подарит им, да собирать всю ночку новогоднюю будут, зуб даю! Ай, да зубов-то своих уже маловато осталось... Эх, годы мои годы! А у матки с батькой смотри как глазенки-то горят, а? – что дедуля с малыми играет. Идиллия! Во, еще слово-то какое знаю, а? И внучатки рады, погляди, милые какие! Хороши внучата... Знаешь, у меня же тоже внучата есть... Щечки у них в детстве прям как твои были: пухленькие, кровью налитые! Живые!

От обжигающего холодом прикосновения старушки к щеке у Андрея Андреевича потемнело в глазах. Мелкие мошки вспорхнули стаями, а голова закружилась. Пережив в очередной раз помутнение, он снова оказался в кабинке туалета.

— Да без меня и не было бы этих подарков пиздюкам его, не было бы! Он же жлоб скупой, блять, у него денег

этих куры не клюют! Ничего своим детям и внукам не давал! Ничего, пока петух в жопу не клюнет! На счету у него знаешь сколько рублей было, а, бабка? Знаешь?! А я вот знаю!

Лицо старушки поменялось. Щеки раздулись. Белки вылезли из кратеров глазниц. Нос скомкался. Рот широко раскрылся, оголив зияющую гнилую дыру, из которой прямо на похолодевшие колени Андрея Андреевича вырвалась зеленовато-желтая жижа. Старушка прикрыла рот рукой, сдержав очередной позыв, но мелкие капли вырвались сквозь щели пальцев и попали на мясистые губы собеседника. Андрей, прикрыв рот ладонью, взялся вдруг вытирать лицо рукавом. От едкой, желчной вони голова его закружилась, тело внезапно начало клонить в сторону, и он грузно свалился, выбив вместе со старушкой дверь кабинки.

Поднявшись, опираясь о стену, Андрей Андреевич обнаружил, что находится в траурном зале морга. Запах желчи все еще цеплялся за волосы в ноздрах.

Это было крохотное, холодное, темное из-за недостатка освещения редкими тусклыми лампами помещение, оклеенное коричневыми обоями. У стены, перпендикулярной гробу, стояли две напольные вазы с пучками маленьких букетиков искусственных цветов. Вдоль параллельных друг другу стен располагались два ряда стульев, на которых сидели шесть человек, одетые в траурные костюмы. В большей мере, это были престарелые женщины или уже глубоко чахнувшие бабушки все как одна в одинаковых черных меховых платках. Среди них внимание Андрея привлекла другая – молодая девушка, пододвинувшая стул к изголовью гроба. Тонкой, как свежесорванный березовый прут, изящной

ладонью она гладила лицо покойницы. Девушка была настолько исхудавшей и истощенной, что вдоль темно-серой атласной блузки невольно проступали ровные холмы позвонков. На уровне локтей, прищурившись, можно было разглядеть гладкие полосы ребер. Тощая длинная шея была спрятана за почти прозрачными смоляными волосами, весенней паутинкой обрамлявшими острые плечи и выступающие, как ловко обрезанные крылья, лопатки. Весь ее облик – посадка, одежда, движения рук, дыхание – все говорило о трудном положении, о печали, о нужде и о гордости, не позволяющей сложиться у гроба окончательно. По залу хромой мышью пробегал шепот:

— Бедняжка, мать родную из-за какого-то охальника потеряла.

— Да и не говори-ка лучше. Пална-то ведь нормальная баба была. Ну да, понятно, что мы, старики, все равно что дети – бываем с закидонами своими-то.

— Капризы капризами, а чего дочка-то не жила с ней? Сама – кожа да кости, без мужика, да и мать без деда оставила. На кого?

— Молчала бы лучше, Ольга. За своими последи. У нее двое деточек, одна же тащит, куда ей...

— А чево я сказала-то? Глядишь, она на мульон долгов по банкам не набрала бы, коли дочь бы за ней глядела! И не грохнулась бы одна одинешенька на кухне!

— Да замолчи ты уже, дура старая! Не видишь, что ли, у девки горе!

Внезапно ребра девушки начали расширяться и сужаться, сопровождаемые гортанными всхлипами. Плечи затряслись в припадке, а каблук, ровно впивающийся в щель между выпирающими краями линолеума, начал,

выскакивая, дергаться. Подошедшая старушка в черном платке взяла женщину под руки и попыталась увести к себе, но истошный крик и взмах рукой прервали попытку. Девушка оттолкнула бабушку, вцепилась своими тонкими, как ветки молодого крыжовника, пальцами в гроб и не хотела его отпускать, ревом взывая к чему-то или кому-то. Наконец, успокоившись, то ли от истощения, то ли от непривычного напряжения голосовых связок, она поднялась, подтащила стул к другим и села, прикрыв лицо. В ее руках Андрей Андреевич заметил знакомый платок.

Не желая довериться собственной памяти, он стал медленно приближаться к гробу. Его не останавливало то, что штаны болтаются где-то под ногами и мешают идти. Не смущало также, что он, полуобнаженный, тучный человек, каким-то чудом оказался на чужом прощании в холодном морге. И тем более не удивляло то, что его никто не замечал. Будто бы никакого Андрея Андреевича не существовало вовсе.

Приближаясь шаг за шагом, медленно, расчетливо, так, чтобы отекавшие ноги не подвели его в самый неподходящий момент, он двигался в сторону гроба. Андрей не мог или не хотел верить своим глазам. Склонившись над гробом, он понял, что перед ним находится его туалетная гостя.

Ее лицо отражало иллюзорное умиротворение и покой, как это умеют создать профессионалы. Руки скрестились на груди, обернутые ритуальными лентами. Тело по пояс было укрыто выглаженным белым покрывалом, обрамленным по краям кружевом. Слева лежал футляр для очков, справа потертый деревянный образок на ниточке с изображением женщины, придержи-

вающей взрослого ребенка, и молитвослов. Она будто бы спала и, кажется, улыбалась.

Внезапно ледяная рука схватила широкую влажную шею и притянула голову так близко к лицу, что Андрей уперся носом в молитвослов и почуял что-то кислое, смешанное со спиртом.

— Ну, привет, Андрюша!

Хватка ослабла. Андрей дернулся вверх, практически потеряв равновесие, но устоял на ногах, ухватившись за край гроба. Лицо старушки покрылось язвами, шрамами. Вены выпирали, как окаменелые черви. Кожа местами отслаивалась. Один глаз был открыт необычайно широко – весь в кровоподтеках. Второй – как прищурен. Старушка села в гробу.

Андрей Андреевич вдруг почувствовал, что его грудь что-то сдавливает, будто великан начал аплодировать, не заметив мошку на ладони. Тошнота цеплялась за пищевод, пробиваясь горячим комом ко рту. Обжигающе холодные жемчужины снова выступили на лбу, скатываясь градом к вискам и глазенкам, игнорируя препятствия.

— Веру Палну-то ты тоже забыл, гаденыш, а? Поди сюда, красавчик, приляг. Да не споткнись только, чевой-то у тебя штаны-то спущены, а? Как у маленького.

Искусственные цветы вдруг пахнули чем-то кисло-сладким. Стены закружились.

* * *

На улице постепенно теплело, что было не так привычно для января. Снег слипался ослепляющими кучками, а затем спадал и влажно разбивался о песоч-

но-ледяную кашу нерасчищенных тротуаров. Солнце приятно выглядывало сквозь редкие пуховые облачка. Только в узких коридорах здания суда метался легкий сквозняк, просачивающийся сквозь щели оконных рам.

Сергей, совсем недавно устроившийся конвоиром, прогуливался вдоль кабинетов, проверяя их состояние после вчерашних заседаний. Его вполне устраивала эта работа – расхаживаешь по коридорам, следишь за соблюдением порядка, который редко берется кто-то нарушать. Захотел – вздремнул, захотел – выпил чай с мужичками в подсобке. Частенько, конечно, приходилось провожать, скажем так, особых людей, к машине, приковывать кого-то к себе наручниками, но, в целом, Сергея это не особенно напрягало.

Он размеренно раздумывал о порядке сегодняшнего дня, о том, как он совсем скоро уйдет на выходные, отдохнет с друзьями, подарит жене что-нибудь, купит дочке какую-нибудь куклу или плюшевого мишку...

Станный запах.

Сергей открыл дверь и увидел развалившееся на унитазах бледное тучное тело. Ноги были покрыты десятками разных отпечатков ладоней, будто кто-то пытался утащить его, предварительно вычистив печную золу.

Мертвое лицо выражало лишь одну эмоцию.

ЧЕРНЫЕ КАРТИНЫ

*...Глазницы воронок мне выклевал ворон,
слетая на поле нагое.*

Я – Горе...

А. Вознесенский, «Гойя»

Среди сотен длинных и запутанных клубком улиц всегда найдется одна, через которую проходить не хочется по тем или иным причинам: слишком темно или, напротив, слишком светло, слишком много спешащих по своим делам людей или, наоборот, настолько мало, что в этой пустоте не чувствуешь себя в безопасности. Там может быть слишком тихо. А может быть и до раздражения шумно от только что заведенных, греющихся или уже спешащих куда-то машин, а также от громких, иногда совершенно бестактных и ненужных проходящим мимо ушам разговоров между коллегами, или более интимных перешептываний, доходящих до спертых хрипов. Там может пахнуть сыростью, из-за чего особо привередливым людям в костюмах-тройках не захочется слышать хлюпанье лакированных туфель по мутным лужам не только под своими ногами, но и внутри своего тела, вдыхая цепляющийся за волоски носовых пазух вязкий и склизкий воздух, заполняющий каждый миллиметр легочных альвеол. А может, наоборот, пахнуть только что приготовленным осьминогом с картофелем конфи и соусом чоризо настолько маняще и аппетитно, что рядовой щупленький студент в заштопанном в нескольких непримечательных местах пальто не рискнет лишний раз дразнить себя по пути в уже обжитую до него тараканами и прочими, не всегда попадающимися на глаза существами комнату. Там его мирно ожидает

очередная порция гречи с тушенкой, банку которой ему заботливо упаковала вместе с более теплыми вещами мама, подготавливая своего милого сыночка к подступающим холодам и пробирающим ветрам, беззаветно прославляющим этот город.

Но на той улице пахло ничем.

Она находилась недалеко от большого кладбища, где совсем недавно, помимо обычных, непримечательных могил, располагались памятники и кресты знаменитых художников слова, кисти, руки, уха. Некоторых из них очень заботливо перевезли в другое, чуть более отдаленное место вследствие множества бед, доставшихся городу.

На кладбище не стало появляться меньше людей. Туда могли пойти как не слишком заинтересованные туристы, желающие поставить определенную галочку в своем путешествии, так и особо верующие люди, чтобы приложиться к мощам святого и помолиться за здоровье свое и близких, попросить о покое уже усопших. Ко всему прочему, там довольно часто появлялись в крайней степени грустные люди с потускневшими, почти залитыми молоком глазами. Они, несмотря на дождь, мокрый снег или другую, множественную, присущую этой местности непогоду, прогуливались в поисках особо старых памятников и надгробий. Иногда, очень редко, найдя такой памятник, мимо которого они еще не проходили, потускневшие глаза впивались в разрушающийся временем и иными природными явлениями камень, вчитывались в полуистлевшие эпитафии, забытые имена и слишком давно прошедшие даты и погружались в мысли совершенно неразличимые другими, пробегающими мельком вдоль таких могил, глазами.

Через улицу, ничем не пахнущую, пешеходы проходили довольно редко даже днем, а если речь шла о более темном времени суток, то не проходили совсем. Временами остановиться напротив могли какой-то юноша или какая-нибудь девушка, одетые так, чтобы узнать их было как можно труднее, с небольшими рюкзачками на спинах, с руками, трясущимися от периодически накатывающей мании преследования, отчего приходилось оглядываться даже в лифте, поднимаясь домой. И каждый раз, приходя в квартиру, осматривать одежду на наличие «жучков», а помещение — на наличие камер или «прослушек», встроенных в растерзанного ножницами и снова сшитого множество раз бедного плюшевого мишку. Сожаления, стыд и слезы, хотя и не мешали трепать этот своеобразный символ удачи и памяти, подаренный бабушкой при переезде в большой город, но, скапливаясь в груди, как будто бы заставляли внутри что-то дергаться, резонировать. И даже они не заходили дальше, а снова достаточно быстро, ускоряясь, скрывались, как будто разглядели что-то в утопающих среди луж тенях.

Данила никогда не был на этом кладбище и никогда не проходил той улицей. Мало того, он даже не знал о ее существовании. Для него таких улиц не было, но не потому, что он отличался особым безразличием к окружающему его пространству. И не потому, что, может, был довольно смел, чтобы с одинаковой уверенностью шагать как в толпе людей, так и одному вдоль неосвященных переулков, тишину которых нарушали разве что ритмично разрывающие поверхность воды, сорвавшиеся с козырьков крыш капли или звуки радиостанции из окна кухни, напротив которого, в соседнем зда-

нии, разыгрывалась семейная драма, доносящаяся до уха случайного прохожего.

Для Дани все улицы были равносильно страшными и пугающими, если он осмеливался бродить по ним в одиночестве. К сожалению, обстоятельства часто заставляли его лишний раз выбираться из своей заляпанной отпечатками такой разной жизни комнаты в коммуналке. Поэтому, запасаясь терпением и усердием, он медленно учился справляться со своими страхами постепенно. Одним из последних запланированных этапов как раз была довольно долгая прогулка в одиночестве по незнакомым улицам не совсем родного, несмотря на то, что прожил он в нем достаточно долго и повидал всякое, города. По крайней мере, так он говорил своим товарищам и подругам (особенно новым подругам), чтобы убедить их в том, что он не из страха не хочет лишний раз выходить на улицу, а лишь потому, что ему уже надоело видеть одни и те же лица, одни и те же дома, слышать одни и те же звуки и вдыхать одни и те же запахи. Какое-то время такие отговорки будут работать, но что потом? Рано или поздно напускные загадочность и отчужденность перестанут быть притягательными... Не найдя ответ на этот вопрос, Данила в своей терапии добрался до центральных улиц города.

Площади давили на него простором и помпезностью, а проспекты — количеством вечно торопящихся куда-то людей и ослепляющей праздностью, поэтому он предпочитал проходить дворами. К сожалению, не все они были открыты или позволяли пройти улицы насквозь. Так, ему все же иногда приходилось перетерпеть. Ко всему прочему, как считал Данила, в какой-то степени это помогало ему бороться.

Пройдя насквозь очередную пышную улицу, он заметил внушительных размеров зеленый павильон, красующийся в центре. По рассказам товарищей Дани, вечерами то и дело можно было ступить в лужу чей-то рвоты или запнуться о внезапно упавшего мальчишку, с прилипшим к обветренной верхней губе сморщенным и липким воздушным шариком. А после этого обнаружить во всех смыслах на себе довольно милую девушку, одежду которой нельзя было назвать вызывающей. В отличие от взгляда как бы предлагающего лишний раз отсыпать ей на тыльную сторону ладони горстку мелкой соли и зайти за угол (именно в таком порядке, не иначе, — она же честных нравов).

Даня утвердительно кивал, соглашаясь и даже подтверждая каждое слово, услышанное от своих приятелей. Но молчаливо не мог понять одно: зачем людям на улице соль и что они собирались делать за углом?

Спустя годы Даня наконец оказался там. К этому дню он уже все знал: и про слипшиеся сдутые воздушные шарики, и про мелкую соль, и про развлечения за углом, и про то, что количество баров на той знаковой улице критически сократилось. И прошел мимо, направляясь к набережной.

Его поражало то, что, несмотря на уже довольно привычную глазу яркость фонарей и окон, вдоль которых ему приходилось шагать, некоторые из них ослепляли его больше обычного. Они направляли на отличный от изначального маршрута путь, заставляя поворачивать в какие-то закоулки между домами и проходить сквозь низкие арки. Минуя несколько двориков и не самых приглядных улиц с множеством рытвин в асфальте, облезлых стен, больше напоминавших волдыри на теле

больного проказой, а также опустевших, сплетающихся между собой сухих лоз, растущих вдоль тех же стен и прилегающих к ним заборов, Данила дошел до следующего двора. Его арка больше напоминала вход в пещеру, чем какую-то часть архитектурного зодчества, где крутились двое молодых людей, старательно ощупывающих выступающие вдоль стен артерии труб.

Заметив подошедшего только в критической близости, они, вероятно испугавшись или нашедши наконец то, чему было посвящено все это представление, спешным, нескоординированным шагом скрылись за углом. Но Даня их даже не заметил. Зайдя внутрь двора, он шел туда, куда вели его ноги, не более того, и, прошагав таким образом около пяти минут, понял, что сквозь дворик не прошел, а вернулся на то же место, с которого начал. Это совершенно его не устраивало. По картам путь пролегал ровно насквозь. Неужели он где-то ошибся, или его сбил навигатор и завел не в тот двор? Копаясь в своей голове и в телефоне, как дама средних лет в сумочке, Даня совсем не заметил тень, появившуюся в аккурат из соседней арки, ведущей совершенно точно, как указывал ему навигатор и, конечно же, здравый смысл, в очередной дворовый колодец.

— Извините, молодой человек, а у вас не будет сигаретки?

Так обычно начинались все диалоги с незнакомцами на улице, которые Даня мог вспомнить, и едва ли они заканчивались хорошо. То после сигаретки попросят зажигалку, что увеличивало время вынужденного знакомства с человеком, то после сигаретки и зажигалки попросят позвонить или, может, лишний полтос на догон, а, может, по законам не столь отдаленных времен

захотят под предлогом сигаретки лишний раз избить, поскольку день не слишком удался. Как по-другому-то, скажите, если жена все ебет мозги, ребенок всю ночь верещит, как заведенный, а заткнуть-то некому, ведь наша милая супруга слишком крепко спит, блядь. Че, за ребенком так сложно днем следить, что ли? Мужу же тоже отдых нужен, пивка там бахнуть с кентами... А после одного-другого литра встать посреди ночи трудно, сами понимаете, люди взрослые. Ну, знаете же, как это бывает, че оправдываться... Мы же не железные.

Но в этот раз голос был добрый и даже скорее по-лермонтовски молящий. Медленно подняв взгляд вдоль тени, Даниил увидел человека, одетого в тафкетовую куртку, испачканную случайно, преимущественно в локтях и боках, бетонной пылью. Под ней виднелась определенно кем-то выглаженная, серая в редкую черную полосу рубашка. Потертые и такие же испачканные, но не прохудившиеся твидовые штаны согревали тощие ноги, а слегка разбитые в носках рыночные подделки под броги оберегали от сырости ступни.

Даниил всегда носил с собой пачку, хотя и курил довольно редко. Молча открыв и протянув ее человеку, почему-то все больше вызывающему доверие, он невольно зацепился за его глаза — они как будто были лишены живого блеска, но назвать их мертвыми, именно такими, как показывали в кино, язык не поворачивался. Никакой белой пелены, кошачьих зрачков — ничего пугающего, чего так привычно было бояться.

Мужчина. Спасибо, молодой человек. Вы не подумайте, я не то чтобы часто прошу у прохожих сигареты, просто настроение сегодня какое-то неясное, понимаете? Как будто болею, да болею так сильно, что режим

мой куда-то потерялся, сбился с пути, что ли, день с ночью путаю, темно тут как-то в последнее время, не находите? Понимаю, конец ноября уже, да снега нет. Так бы светло было, как думаете?

Даниил. При болезни курить вредно.

Мужчина. Да и жить вредно, знаете ли. Я вот пожил, пожил где-то, пожил как-то, а все еще как будто не все прожил. Так жить хочется, понимаете!.. Понимаете?

Даниил. Понимаю, кажется.

Мужчина. У меня семья была. Сын, жена. Мы здесь недалеко жили, на другой улице, если шагать в сторону метро и повернуть трижды влево, а потом прямо, через мостик небольшой, тут в минутах пятнадцати, знаете. Теперь, вот, один там живу почему-то... Там разве что теперь пахнет почему-то неприятно частенько, так что сразу поймете, что правильно идете. Жили мы хорошо, квартира двухкомнатная была, сын в армии отслужил вот-вот, недавно, до этого отучился на историка. С отличием закончил, высшее образование, знаете ли! А я работал много тоже, да. Не помню только кем, давно это было как будто. Вроде бы и недавно, а может быть и давно, понимаете? Болею, кажется, память путается. Жена хорошая была, жили с ней душа в душу! Да и прожили бы еще долго, наверное, я думаю так. И знаете что? Знаете?

Даниил. Нет, не знаю.

Мужчина. Как не знаете? Я думал, знаете... Кажется, все знают, а я один ничего не помню и не знаю. Мне на работе мужики справку передали, сказали, мол, прийти нужно и какие-то документы проверить мои. Ну, думаю, не страшно же совсем, возьму выходной да схожу. Только после этого я почему-то домой не сразу вернулся. По-

ехал с другими мужиками какими-то сначала на поезде, потом на машинах куда-то, да там и задремал по пути. Потом только одно помню: расскажу — не поверишь, за дурака меня считать будешь... А ты не считай! Так вот, стою я как будто по колено в грязи, а перед собой ничего не вижу, кроме мужика какого-то. Присмотрюсь — вроде и я, а вроде и не я. Одеты-то одинаково, думаю, шапка та же, куртка та же... Да чего уж там, часы те же на руке!.. Да лица разглядеть не могу, то ли он сам чумазый весь, в земле какой-то, то ли глаза у меня ото сна будто не разлиплись еще. Вижу только воронки какие-то вместо глаз, носа да рта. Черное все какое-то, размытое... И не дает же сам, сука, разглядеть себя по-человечески! Не дает! Вижу, что палка мне прямо в висок метит. Думаю, что ж ты за человек-то такой, а?! Сам как замахнулся! Попал, спрашиваешь? Не помню... Надеюсь, не попал... Ну, не смертельно, имею в виду, зачем человека-то калечить, а? А он меня зачем хотел... Может и не хотел вовсе?.. Чего это мы там вообще оказались-то? Оба люди, оба мужики взрослые, семьи есть, дети есть, а палками друг перед другом размахиваем, как дикари какие-то!.. Нет бы жить! А вокруг все беспокойное какое-то — земля вся ходуном ходит, как море волнами грязь подымается, падает, плещется, да так, что неба не видать... Брызги в разные стороны, и грязи этой конца и края не видно. И шумно, шумно-то как... Убежать хочу, да не могу совсем, ноги-то по колено, понимаешь, застрял! Только и могу, что дубиной этой махать, как ненормальный. А потом вдруг — раз! — и пусто как-то... Просыпаюсь в своей постели, как обычно, только в голове, как вверх дном все перевернули. Как говорится, знаешь, зашел в сельский туалет и!.. Извините, шучу я,

шучу. Не смешно?..

Даниил. Нет, смешно.

Мужчина. Да знаю, что не смешно. Когда вернулся, тоже никто не смеялся почему-то. Шутки мои, что ли, не нравились им, не понимаю. Может, шучу как-то не так, скажи? Жене всегда нравилось, да и она тоже не смеялась чего-то. Как будто никто и не понял, что папка наконец-то дома проснулся. Даже сынишка не смеялся. Хотя ему давно шутки мои не нравились почему-то, но тогда даже улыбки виноватой не было, как раньше. Вот и я ничего не понимал, так же, как ты смотрел сейчас. А может и страшно было, не знаю. Ночью сидел на табуретке около кровати нашей. Таблетки да склянки всякие убрал на пол, сижу себе. Жена спит, да беспокойно как-то: то вскрикнет, то вздохнет глубоко, то поплачет то ли во сне, то ли в бреду. А чего плакать-то? Мужик же тут! Вернулся! Откуда-то вернулся! Откуда — не помню... Утром с матерью моей говорила. Не слышал, о чем, но сын уехал быстро, а жена плакала и плакала долго. Случайно по громкой связи, знаешь, включила она, пока корвалол в стопку накапывала, да я и услышал, вспомнил. Жена-то не прописана была. Мать говорит, мол, съезжай, нечего тебе там больше делать в квартире, не нужна ты там никому. И ублюдка своего заberi. Постыдись, говорит. Поезжай отсюда. Куда, спрашивает. Меня не волнует. Главное, говорит, про деньги забудь, не твои они. Вы даже не женаты были, спутался с тобой, потаскуха несчастная. А какие еще деньги, думаю. Стою, как ты сейчас, и не понимаю, глазами хлопаю. Как не нужна никому. Закричать хочу, что есть силы, да как будто ком в горле, легкие свело — ни звука издать не могу, ни писка. А за окном все

темно и темно, светлее не становится. Посплю, думаю. А когда проснулся, никого уже не было — ни сына, ни жены. Ни матери. Вот теперь гуляю тут иногда, когда не сплю, а сплю много, долго. Беспокойно сплю. Мучает меня, куда жена с сыном делись. Верю, что хорошо у них все. Надеюсь, по крайней мере... (молчит) А тебе снятся сны?

Даниил. Да, бывает, иногда, правда...

Мужчина (не дожидаясь ответа). Сны у меня только странные, правда. Знаешь, штука какая — сны эти? Иногда снится мне, что стою я рядом с ней у кровати в другой квартире какой-то, в городе, где мы познакомились, когда я туда в командировку ездил. Квартирка небольшая, на ее детскую похожа, по фотографиям помню. Говорит, мол, что сынишка женился, живет в области где-то, подрабатывает. Что все у них хорошо, но скучает по мне сильно. И я по ней скучаю, чего греха таить, люблю до сих пор... Мать вот только никогда не любила ее почему-то. Думала, что пью из-за нее много, что жизни мне не дает. Может, так думала? Потому без моего согласия выгнать ее решила? Съезжу-ка я к ним всем, навещу, как поправлюсь, мне уже лучше становится потихоньку, кажется. Раньше все темно было. Как думаешь? Поехать? Дай-ка еще сигаретку, молодой человек, курить так хочется. Все никак не накурюсь. Меня, кстати, Колей зовут.

Даня потянулся за пачкой в карман, но выронил ее на асфальт, почти в лужу. Потянулся рукой, присел, а когда поднялся, то мужичка уже не было перед глазами. Только тень удалялась куда-то за угол той арки, ведущей во двор-колодец.

Ноги несли Даню прочь, в обратную сторону, вынудив

пробежать через другую, но очень похожую арку, выводящую, к удивлению, к небольшой речке, от которой так сильно пахло чем-то гниющим. Теплый, склизкий воздух проникал в ноздри и плавно опускался вниз, в легкие, заполняя альвеолы. Тошнота подступала к горлу, но что-то как будто мешало желчи вырваться наружу. Облокотившись на резные поручни, Даниил поднял голову вверх, надеясь увидеть звезды, как в мультфильме про львов из своего детства, и хотя бы немного прийти в себя. Но в глазах его отразились плотные, низкие тучи, освещенные бесконечными рядами фонарей и от этого потерявшие свой изначальный цвет полностью, впитывая рыжеватую желтизну города. Эта густая, вязкая клетка сдавила голову и легкие с такой силой, что никакая преграда не могла сдержать рвоту, вырвавшуюся наконец в узкую речку.

— Юноша, с вами все хорошо? — спросила оказавшаяся на рядом перекинутом мосту женщина. На вид ей было около шестидесяти лет. Ничего примечательного в ней не было, за исключением длинноватого крючковатого носа. Одета в меховой платочек и бесформенный брезентовый плащ, который был ей явно велик, она глядела на Даню полными горечью и сочувствием глазами. Подойдя ближе, она положила теплую мягкую руку на его плечо, и, опустив на тротуар ведро, другой потянулась в карман и достала конфетку. Последний раз Даня видел такие у своей бабушки в вазе, еще в детстве, когда приезжал к ней в гости на летние каникулы.

Пробормотав слова благодарности, Даня взял конфетку и, избавившись от обертки, засунул ее в рот. Очередной приступ рвоты прекратился, и даже воздух стал как-то слаще, приятнее, перестал напоминать забро-

дивший смородиновый кисель.

— Странно у вас тут пахнет, бабуль, — повел носом Даня, подперев ограждение спиной и развернувшись лицом к бабушке. — Здесь всегда так, сынок, я уже и не замечаю. У нас тут молодые редко бывают, чего ты тут забыл? Хочешь через мост пройти? Я тебе так скажу: еще успеешь тут нагуляться, как посветлее будет. Поди вдоль речки туда, там магазинчик, водички себе купишь да ступай домой, метро здесь недалеко. Знаешь, может, места эти? Держи еще ледяшек.

Даня послушно забрал из ладони такую же конфетку, в очередной раз поблагодарил старушку и двинулся в указанном направлении. Пройдя в своих мыслях метров пятнадцать, пытаюсь осознать рассказ мужчины, которого он встретил во дворе, резкий свист тормозных колодок вытянул его за шиворот обратно, заставив вглядеться в окружение. Вдоль течения реки, снова начинающей пахнуть перебродившим смородиновым морсом, плыл меховой платочек, а на противоположном берегу мчалась белоснежная машина, всей своей формой говорящая о том, что Даню к ней не подпустили бы даже с моющим средством и тряпкой.

Бабушка уже перешла через мост, подошла к какому-то неказистому дому, низкие колонны которого, подпиравшие козырек, были больше похожи на две стопки блинов, подготовленные какому-нибудь хтоническому великану. Открыв входную дверь, она обернулась и, взглянув в сторону Дани, приветливо помахала ему рукой, как будто даже не придавала значения потере все так же скользящего по водной глади платочка.

Не вынося окружающего запаха, Даня завернул в пе-

реулок и, прислонившись к стене, мягко сполз на сырой асфальт. Его желание поскорее вернуться домой, сбегать сдерживалось всепоглощающей усталостью, внезапно окутавшей его, связавшей смирительной рубашкой руки и ноги. В таком состоянии он пробыл около пятнадцати минут, выкуривая одну сигарету за другой, совершенно не замечая находившегося метрах в пятидесяти от него вдоль переулка молодого человека в капюшоне, раскладывающего пакетики в сколах кирпичных стен и под выступающими карнизами. Из транса Даню в очередной раз вывела какая-то возня.

Мимо него, шлепая по лужам, пробежал тот самый молодой человек, а вслед за ним мчались еще двое, постепенно понимающие, что догнать его будет проблематично, оттого медленно сбавляющие скорость. Остановившись прямо напротив Дани, один из них поднял ничего не понимающего молодого человека, повернул спиной к себе и, прислонив щекой к стене, начал шариться по карманам, после чего громко лаял про какие-то блестящие звезды и тряс перед глазами целлофановым кульком с неизвестным белым содержимым. Поздно подоспевший второй, весь измазанный в грязи и сильно запыхавшийся, начал рассказывать историю погони и, показывая разбитые, стертые в кровь ладони, невольно отвлек первого попавшей на лицо мокротой от влажного кашля.

Воспользовавшись моментом, Даня выпрыгнул из куртки, оставив леденец в кармане, бросился прочь сквозь арки, перескакивая через заборы, и забежал в совершенно непримечательный магазинчик, откуда его, грязного, сырого и взлохмаченного вышвырнул охранник, разбив дисплей телефона.

Безуспешно бродя в поисках метро, Даниил забрел на улицу, которую освещали разве что немногочисленные люстры из окон жилых домов, напротив которых, погруженное в как будто сжирающую свет тень, находилось кладбище. К этому часу по нему не бродило ни одно лицо: ни удрученное тяжелыми мыслями, ни изучающее особо древние могилы, ни особо верующие туристы, ни даже мамочки с колясками. Подступающая к горлу тревога, с которой Даня боролся последние несколько часов, начинала ощущаться как предчувствие. Сдавливала кадык, обретала форму, оседая в горле. Холод медленно, без остановок цыганскими иглами пронизывал суставы и заставлял сокращаться мышцы в неритмичных спазмах.

Отчаявшись, он решил уже спросить дорогу у первого встречного. Но никто не появлялся там, где бродил Даня. Кое-как присев на цоколь здания у очередного поворота, чтобы перевести дыхание и попытаться согреться, его взгляд остановился на облаках неестественной формы, чуть ли не цепляющихся, как показалось, за антенны на крышах зданий.

Некие существа, лишь отдаленно напоминавшие людей наличием исполинских размеров голов, рук, ног, едва различимых глаз и губ медленно двигались по небу. Казалось, что их лица обезображены то ли тяжелой болезнью, то ли временем и жизнью, но ни одна из фигур не была заинтересована глазеющим на них снизу человеком. Правая, чьи пальцы больше напоминали надломленные ветки чахнувшего среди раскаленных песков дерева, безразлично повернувшись спиной, повиснув на проводах, как на гамаке, держала в левой руке что-то наподобие ножниц; левая фигура мяла, как капусту на

закваску, своими массивными, толстыми, но короткими пальцами какую-то тряпичную куклу; а третья, будто бы через линзу, пыталась всмотреться в чье-то легкомысленно незашторенное окно, облокотившись на крышу — и все существа игнорировали Даню.

Кроме одного.

Обращенное к нему лицом обнаженное нечто с забранными за спину руками так, будто бы их связали, сверлило человека глазами, наполненными одновременно печалью, тоской и неизбежным смирением. Его тело свернулось в неестественной позе, червоточина рта открылась то ли в болезненном крике, то ли в плаче, и, начиная с ушей, в голову Дани стал проникать сдавленный рев, громкий шепот, переходящий в вопль, слова которого невозможно было разобрать.

Накрыв ладонями уши, закрыв глаза, нагнувшись ближе к земле, Даня попытался спрятаться. Когда сил сдерживать свой собственный болезненный вой более не оставалось, он, как в последний раз, взглянул на небо. Его взору открылись лишь множества маленьких туч, неумолимо разносимых дальше друг от друга порывистым ветром. Звезд все еще не было видно.

Крик доносился из-за угла. Поднявшись, Даня облокотился на стену и повернулся.

Улица была очень узкой, совершенно лишенной света, больше напоминающей закуток переулка, чем сам переулок, и заканчивалась тупиком. Можно было подумать, что она представляет из себя торцы конструирующих ее зданий, поэтому там было так мрачно и неудобно. Но окна жилых домов попросту не могли достаточно разогнать темноту возле десятка входных дверей. Может быть, жильцы давно не мыли стекла, потому свет

был настолько тусклый. А, может быть, тени сами не позволяли ему проникнуть дальше, жадно проглатывая его.

На удивление, это было единственное место за всю прогулку, где буквально не пахло ничем. Воздух был мягкий и влажный, отчасти даже теплый. Даня, резко и часто вдыхая его от волнения, не ощущал, как тот касается слизистой.

Блестящие влагой стены копили на себе воду, как секунды сворачивались в минуты, стремящиеся вырваться в часы, а часы в дни, а дни в годы, затем сбрасывали ее плотными каплями в лужи, нарушая физически ощущаемую тишину, облегающую эту небольшую улочку тяжелой матово-черной гобеленовой тканью. Ни мыши, ни крысы, ни тараканы — ничто не нарушало покой суетой под ногами, в артериях труб, в щелях расколотых стен, в окнах квартир.

Единственным живым существом, на каком-то природном уровне не вписывающимся в окружение, был стоящий в мраке близ тупика человек, едва разгоняющий тень экраном смартфона, свет которого не позволял различить даже очертания его лица.

Мужчина стоял поодаль и что-то кричал в телефон. В ответ ему на громкой связи прилетал неразличимый гневный набор звуков. Бросив телефон в стену после очередных вырвавшихся обрывков фраз, он повернулся к Дане и, приближаясь, попросил сигаретку.

* * *

— Эй, дружище, поднимайся. Давай, хватайся за руку. Вот так. Ты чегой-то тут? А чего у тебя с глаза-

ми-то случилось? Как будто блеска, что ли, нет. И волосы какие-то липкие... Сигаретки не будет, кстати? Я тогда заторопился просто, не успел вторую взять. Ты уж извини.

КРИК

*Он сказал мне: возьми и съешь ее;
она будет горька во чреве твоём,
но в устах твоих будет сладка,
как мед.*

Откр. 10:9

Свисающие с верхних и нижних полок ноги, болтающиеся руки, смятые простыни, покрывающие обнаженные спящие тела, спертый сальный воздух, оставленные на прикроватных столиках подстаканники, храп сравнительно больших женщин и несравненно больших мужчин, развешенные вдоль прохода куртки – ничто как будто бы не хотело выпускать Женю из вагона. Стоящая у дверей пошатывающаяся проводница, пахнущая то ли «Шанель №5», то ли «Столичной», упорно вглядывалась в темноту пробегающих огней, будто пытаясь наконец разобраться, где кончаются ее глаза и начинается стекло входных дверей.

Рядом с ней Женя больше походил на подпирающую свод колонну, дежурящую на посту не день, не два, а самую малость больше. Ни один его лицевой мускул не шевелился, ни одна мышца в руках и ногах не напрягалась достаточно, чтобы пустить случайный нервный импульс по всему телу.

Женя вышел из вагона. Проводница все продолжала остекленело смотреть в одну точку, сквозь проходящие мимо единицы гражданских, спешащих домой, сквозь людей в черной и синей форме, сквозь пробегающих иногда собак и пролетающих голубей. Даже настойчивые взмахи Жениной ладони, казалось, не возбуждали в ней ни малейшего интереса к происходящему.

Ничто не казалось знакомым. С трудом вспомнив путь до дома, Женя похлопал по карманам и решил пойти пешком. Деньги еще не подошли, но их обещали, а это значит, что скоро придут. И все будет хорошо. Тем более, в последнее время есть почему-то совсем не хотелось, а это значит, что денег можно тратить куда меньше. Да и дома накормят. Должны.

Судорожно почесав зудившее пару тройку дней запястье, Женя вышел с вокзала и направился в сторону дома.

Свет вокзальных прожекторов, неоновые буквы и мельтешащие вокруг люди, шагающие неровным муравьиным строем, резали глаза, отчего хотелось скорее сбежать с платформы и территории вокзала в целом. Пройдя сквозь металлическую решетку, Жене открылся вид на площадь, окруженную домами, построенными, наверное, в прошлом веке, если он правильно помнил уроки истории.

Пародии на древнегреческие колонны со смесью всех возможных ордеров ассиметрично разрезали полупустые монолитные здания. Насмешливые пилястры, резные, наполненные барочной лепниной балконы были хаотично разбросаны вдоль всей стены, как прыщи на спине подростка, случайно обнаруживаемые во время первой близости рукой партнера, – открытые и такие же не желаемые. Отслаивающаяся под влиянием времени оливковая краска вскрывалась ржавыми веснушчатыми пятнами. Создавалось ощущение, что Женя находится в стенах старой общественной бани.

Но что-то случилось. У Жени кольнуло в боку. Как будто какая-то особенно резвая птица в попытке вырваться из брюшного мешка едва пробила клювом мел-

кий кусочек ткани, но, зацепившись за нитку, не смогла вырваться из западни. Что-то просвистело над ухом так близко, что Женя почувствовал полоску ветра, коснувшуюся его виска и даже щеки. Не понимая, к чему все же стоит приложить руку сначала, чтобы избежать мгновенной смерти, он резко сел на корточки, прижав колени к груди, бросив сумку с вещами, и зажмурился, прислушиваясь.

Вокруг только проезжали мелкие машины, автобусы, и все так же звонко вышагивали люди.

-- Молодой человек, с Вами все в порядке?

Интерес мужчин в форме, заметивших не слишком обычное поведение гражданина и оповестивших его об этом соответствующим тоном, насторожил Женю. Он с недоверием открыл глаза и ощупал себя с ног до головы. Бросив пару простых извиняющихся фраз и оправдавшись сильной усталостью после нескольких бессонных ночей в дороге, молодой человек спешно покинул площадь и направился вдоль улицы прочь. Ближе к дому.

Пройдя вдоль магазина, крыльцо которого буквально кишело людьми с настолько опухшими лицами, что сложно было различить конкретное нахождение прорезей глаз и рта, Женя дошел до здания школы. Он часто проходил здесь на прогулках в компании родителей, будучи еще шестилетним ребенком. Странная теплота воспоминаний обдала его, как кипящая вода, вылитая на раскаленную кладку камней.

Мама говорила, что они с папой редко ругались. Они просто так общались, пока после обеда снова не сядут за стол, разлив по стаканам мерзко пахнущую, слегка вязкую, прозрачную жидкость. А жидкость покупалась как раз в том магазинчике рядом с большим и краси-

вым домом, в который, по словам полной и мягкой бабушки, Женя должен был пойти уже через год. Вернее, не конкретно в этот, а в другой, но очень похожий дом. Бабушка называла его школой.

К вечеру квартира наполнялась множеством разных гостей, и, что интересно, каждый раз новых. Нет, иногда, конечно, лица были более постоянными в своем появлении. Но Женя все равно не мог отличить одного мужчину от другого, а часто и одну женщину от другого мужчины. Так что жизнь была довольно стабильной, особенно, если говорить о стабильном женином отправлении родителями к бабушке в квартиру по самым разным причинам. От просьбы зайти к Лидии Федоровне за буханкой хлеба в соседний дом, где ребенок в итоге и ночевал, до прямого отправления Жени куда подальше, поскольку в однушке друзьям мамы и папы спать было особенно негде, если не освободить кровать. И Женя послушно шел.

Бабушка была мягкой и полной ровно настолько, насколько была и добра к ребенку. Погружаясь в воспоминания все глубже, Жене представлялось, что каждый такой поход встречал его запахом теплых, только что испеченных, лежавших на противне пирогов с капустой, с маком, с яблочным повидлом или даже, если позволял сезон, со свежесасахаренной земляникой. Проводя в доме бабушки теплые и уютные вечера, Женя отправлялся спать на диван, всегда заправленный свежими накрахмаленными простынями, напротив телевизора. Там он медленно начинал сопеть под мелодию из вечернего детского шоу, которое показывали по федеральному каналу, с говорящими куклами вороны, собачки и зайца. Основной фокус, конечно, был на милой

ведущей, так сильно напоминавшей ему маму из того времени, когда они жили у бабушки. Папа тогда, по ее словам, был далеко-далеко на работе. В другом городе, наверное.

Лидия Федоровна, заботливо подоткнув одеяло внуку, сидела с ним несколько минут, ожидая, когда он уснет, или хотя бы притворится, и тихо уходила на кухню домыывать посуду, убираться на столе. В общем, заниматься своими бабушкиными делами. По крайней мере, так слышал Женя.

А бабушка плакала.

Похорон он не помнил, но находился в полной уверенности, что был на них. И что родители тоже точно были. Не могли не быть. Мама много плакала. Какое-то время даже новые гости не появлялись в их доме. Наверное, ей было очень грустно, потому что, спустя ровно неделю, гости стали приходить еще чаще и в еще большем количестве.

В квартире бабушки Женя больше не был ни разу. Однажды, спросив о том, когда можно будет зайти к ней, чтобы забрать свою любимую вилку, папа сказал, что квартиру забрали за какие-то там долги. Мама, облокотившись на стол локтями, смотрела на дно стакана с прозрачной, слегка густой жидкостью и кивала.

Сбросив с себя эти непонятные, вязкие воспоминания, Женя отправился дальше, к дому. Ему предстояло пройти мимо большого ТЦ, попеременно искрящегося яркими белыми огнями, как августовское небо. Вообще, в последнее время он не очень любил свет. Какая-то странная внутренняя тревога просила Женю обходить особо освещенные места стороной и держаться девятиэтажных «брежневок». Не найдя иного пути к дому, он

двинулся к узкому мосту, проходящему через крохотную речку.

У самого моста, но ниже по берегу, ближе к журчащей воде, Женя увидел нечто, закутанное в черную мешковину. Почему-то он был уверен, что там лежит его старый товарищ, свернувшийся и воющий от боли. Ринувшись к нему по скользкой земле, падая, прокатываясь по грязи не только ладонями, но и целыми предплечьями, Женя спустился к корчащейся массе. По черноризному образцу мешковина обрамляла опухшую голову с толстой шеей, перебитой чуть ниже скулы, рядом с артерией, и истекала ярко-алой субстанцией. Синеющие рыбы губы беззвучно касались друг друга в попытках то ли схватить еще кусочек уходящей из тела жизни, то ли сказать что-то. Молили о помощи или спасении. Но из обезображенного кровью беззубого рта ни звука так и не доносилось.

Переложив голову на испачканные сырой землей колени, Женя пытался руками передавить пульсирующую артерию, но ничего не получалось. Кровь все так же струилась из раны, обагряя руки, одежду и землю, смешиваясь в субстанцию, похожую на забродившее малиновое варенье. Убрав руки от шеи, Женя попытался перехватить голову за затылок. Попытка оказалась неудачной, и голова упала, шмякнувшись о землю, как кусок сырого мяса, брошенный на кормление тиграм в зоопарке. Совсем отчаявшись, Женя закрыл лицо руками, и слезы на мгновение вырвались из него, сопровождаемые низким воем.

Во внезапно окружившей тело тишине Женя начал различать звуки. Плотное шлепанье губ стало более отчетливым, осязаемым, будто пробралось уже куда глуб-

же, чем на внешнюю поверхность уха. Взглянув на умирающего товарища, он увидел, как вырывающаяся из артерии кровь взрывается пузырями. Хлопки с каждым новым своим появлением все больше напоминали ему разбросанные в беспорядке буквы вполне конкретного слова.

Помоги.

Моргающий свет искусственного августовского неба торгового центра стал еще ярче, пульсируя в такт рвущейся из тела товарища крови и сердечного ритма Жени. Высокочастотный писк и низкий гул смешались воедино, не давая распрямиться, перестать заслонять уши руками, встать, сбежать. Женя по-младенчески сложился калачиком, измазавшись в малиновом варенье. Беззвучно сжимая и разжимая тонкие нити губ, он попытался закричать еще раз, чтобы услышать свой крик. Но ничего не получалось.

Собака лизнула нос. Женя резко открыл глаза и увидел перед собой свернувшуюся клубком дворнягу, лежащую на примятой траве. Все стихло. Не понимая, что происходит, молодой человек выпрыгнул из своей спасительной позы, перемахнул через речку и убежал в темноту дворов, едва освещаемую редкими подъездными фонарями, иногда оборачиваясь на удаляющийся лай собаки.

Устав от пробежки, он остановился. Оглядевшись, Женя не сразу понял, где конкретно находится, но четко осознал, что все это время бежал куда-то прямо, практически не сворачивая. В темноте молодой человек увидел слишком знакомую детскую площадку с деревянной горкой – единственной постройкой вокруг, которую почему-то не стали сносить, когда облагора-

живали площадку.

* * *

После смерти Лидии Федоровны Женя стал чаще уходить гулять со своими новыми школьными друзьями. Во дворе он познакомился с Костей, а Костя познакомил его уже со своими друзьями – Ромой и Димой. Они ходили в одну школу, но учились в разных классах. Друзья поначалу виделись довольно редко, когда выходили во двор. Но с возрастом все чаще стали прогуливать вместе уроки, вместе пропадали вечерами на заброшенных недостроях, распивая дешевое, но крепкое пиво, вместе впервые пробовали сигареты, вместе играли в футбол и дрались с парнями с других районов.

При этом они не избегали компаний своих одноклассниц, не отличавшихся особой социальной сдержанностью, а также компаний ребят помладше, которые яро хотели вступить в их взрослые и серьезные ряды.

В очередной раз сбегая от разъяренного недостаточным количеством запасенной водки отца и визжащей в пьяном угаре матери, Женя встретился со своими друзьями на деревянной горке в соседнем дворе. Распив по бутылке «Амстердама», компания решила позвать прогуляться пару своих одноклассниц. Те, в свою очередь, привели с собой увязавшуюся за ними свору ребят на пару лет их младше. Последние казались Жене совсем крошечными, неоперившимися птенцами, учитывая, что в этот период разница в возрасте всегда ощущается особенно остро.

Пока младшие резвились под горкой, бегали за местной дворовой собакой и от нее, пытались как можно

больнее ударить друг друга палкой, старшие обсуждали надоевших учителей, сложные контрольные, бесполезность некоторых школьных предметов и то, какая же все-таки классная фигурка у новой молоденькой физручки. Последнее несколько задевало одноклассниц, но нельзя сказать, что парни говорили об этом ненамеренно.

На улице вечерело. Одноклассницы начали расходиться, младшие уже давно разбежались кто куда в поисках чего-то более интересного, чем прятки от собаки. Женя, Рома, а также Вика, наиболее обидевшаяся на замечание пацанов о фигуре нового учителя, решили купить еще по бутылочке «Амстердама» и прогуляться до заброшенного кинотеатра. Распить пиво там, подальше от ветра и лишних глаз возвращавшихся домой родителей и учителей, казалось прекрасной идеей.

В какой-то момент подростковые забавы перестали ограничиваться возлиянием дешевого пива и курением поштучно продаваемых сигарет. Что Вике, что Жене, что Роме захотелось чего-то нового, к чему их тело, как им казалось, было уже достаточно готово. Втроем ребята негласно решили выйти на новый уровень изучения себя, после чего Вика получила знаменательное погоняло «Селедка». В свою очередь, Рома и Женя почему-то никогда больше не вспоминали тот случай, даже когда спустя годы напивались до тех состояний, в которых невольно вскрывается душа каждого принявшего на грудь.

Познакомившись на одной из пьянок с Темой, Женя пустился в еще более тяжкие приключения. Однажды, закусившись с местным цыганом Даней, их четверых (Тему, Женю, Рому и Диму) пришла избивать целая тол-

па разгоряченных подростков. В целом, им не всегда нужна была причина, чтобы кого-то довольно крепко избить. Недолго думая, компания ретировалась, и каждый старался несколько дней не выходить из дома. Вот только это никому не помогло. Так, больше всех досталось Роме, который в порыве всеобщего помешательства и назвал Даню «грязным цыгой». Эта нелепая фраза и обрекла Рому на месяцы хождения со спицами и шинами во рту. Остальных тоже избili, но менее жестоко, а Женю даже заставили извиняться перед самопровозглашенным цыганским бароном на коленях. Свидетелями выступали как раз те самые одноклассницы, задорно хихикающие поодаль.

В размышлениях и воспоминаниях Женя наконец добрался до дома, где его ждала жена, свекровь и не так давно родившийся сын. Поднимаясь по лестнице и борясь с периодически произвольно сжимающейся челюстью, он думал, как его встретит семья. Моргающий мутный свет в парадной мучал его подступающим психозом или обмороком. Остановившись, чтобы перевести дыхание, люминесцентная лампа вдруг успокоилась и размеренно зажужжала, как подступающий рой ос. Попытавшись сбросить наплывающее напряжение и зуд, пробегающий мелкими покалываниями по всему телу, Женя закрыл глаза и начал растирать лицо запачканными грязью ладонями.

Вместо лестницы к двери квартиры и жужжащей лампы он увидел яркий солнечный свет. Вместо кирпичных окрашенных стен – землю с пробивающимися из нее корнями.

Женя стоял в яме.

Вокруг раскинулись ветви сосен и елей. Тонкие ство-

лы берез сгибались от налетавшего порывами ветра, сбрасывающего на голову находящихся в западне сухие ветки и желтеющие листья.

Озноб сжимал каждую мышцу тела импровизированными тисками и довольно быстро отпускал, повторяя операцию несколько раз. Складывалось впечатление, что Женя дрожит. Но ему не было холодно. В боку снова стала рваться на свободу птица, будто откликнувшаяся на призыв пролетающего мимо воронья. Она цеплялась за хирургическую нитку клювом, совершенно наглым образом пытаясь ее вырвать, чтобы освободить себе хотя бы миллиметр для поступления свежего воздуха, не спертого внутренним теплом тела.

Женя не мог различить лиц, находящихся рядом с ним людей, но было ощущение, что все они были ему так или иначе знакомы. Обнаженные по пояс, с голыми ногами, мнущие мягкую, слегка провалившуюся от сырости землю. Кто-то сидел, потому что не мог стоять без костылей, обнявши плечи руками. Кто-то стоял, подпирая собой стену импровизированной камеры, постепенно зарастая просачивающимися корнями. Кто-то уже больше напоминал упавший ствол дерева, облепленный сырой землей, как древесной корой, покрытый опавшими, желтыми, а в некоторых местах и уже коричневыми листьями. Они, как и Женя, оставались неподвижны, хотя перед ними и возвышалась в земле лестница, представляющая из себя несколько разноуровневых ступеней.

Все-таки попытавшись сделать шаг, молодой человек почувствовал, что ноги его совсем не держат. Он точно знал, что падать нельзя, иначе больше он никогда не поднимется. Борясь с вязкой землей, по сантиметру

переставляя одну ногу за другой, цепляясь за вырвавшиеся из стен и людей корни, за находящиеся рядом человекодеревья, Женя все-таки смог добраться до ступеней. Но, бросив взгляд вверх, он уже не видел ни слепящего солнца, ни сосен, ни елей, ни плавно опадающих листьев, ни грузно летящих вниз сухих веток, ни торчащих корней, ни смятой травяной поросли. В дверях, под зудящей люминесцентной лампой стояла жена.

Поднимаясь по лестнице из последних сил, весь в земле, Женя держался за поручень и считал каждую пройденную ступень, внимательно в них вглядываясь. Сосчитав последнюю, он поднял глаза на дверной проем, и увидел только зияющую своей пустотой дыру в квартиру. Жена ушла.

Сняв сырые, начинающие расклеиваться кроссовки, молодой человек прошел на кухню, где на столе увидел источающий пар суп, кусок хлеба и ложку.

Кислый...

Усевшись на табуретку, под столом Женя внезапно почувствовал пальцем ноги холод. Заглянул, увидел заиндевелую бутылку, на горлышке которой, как напальчник, красовался стакан.

Тишину разрывал клекот телевизора с попеременно переключающимися каналами из противоположной кухни комнаты. Вероятно, там сидела теща, находясь в поисках какого-нибудь подходящего сериала на вечер. Найдя такой, она со спокойной душой готовилась поужинать, запивая макароны с тушенкой богатым букетом пакетизированного красного полусухого вина. В комнате побольше, примыкающей к кухне несущей стеной, то и дело хлопала дверь балкона. Раз ветер на улице не был таким уж порывистым, чтобы пробиться сквозь

щели пластиковых стеклопакетов, Женя сделал вывод, что это была жена. С кухонной форточки потянуло сигаретным дымом. Чаще всего Света курила в комнате, но с рождением сына стала выходить на балкон.

На кухню молча зашли Рома, Дима и Тема, подняли с табуретки Женю и принялись обниматься, жать друг другу руки. Как полагается.

Очень кстати здесь оказалась та самая заиндевелая бутылка под столом. Достав только два граненых стакана, Тема соорудил из детского поильника себе еще один, заполнив его наполовину водкой, а Дима достал пакетик. Очередная лампа зазвенела. Булькающая в емкостях жидкость взрывалась пузырями. Шлепающие в перебой друг другу губы не складывались в стройную речь, а звучали хаотично развешанными магнитами букв на холодильнике. Пульт, переключающий каналы телевизора, щелкал в ушах очередями, а балкон хлопал крыльями взлетающей птицы.

Она начала снова проклевываться из брюшины и, кажется, уже вот-вот выберется наружу, пробьет клювом мышцы и иные ткани, разорвет проход когтями и наконец вылезет из удушающего плена, из-под ребер. Стряхнет с крыльев кровь и кусочки плоти на кухонную утварь, столешницу, стены и лица друзей, пытаясь вылететь в форточку.

Но Женя был умнее. Он размешал порошок в стакане и утопил ее.

Витенька проснулся и закричал.

ТЕЛЕВИЗОР

*Разрушение и есть форма творения.
«Донни Дарко»*

Саша, окруженный зелеными, постепенно начинающими цвести растениями в горшках, стоял на балконе и вбивал очередной бычок в импровизированную пепельницу. Перед ним под порывами ветра склонялись кривые стволами высокие березы, ветки которых ритмично стучали по стеклу. На них расположились, как клочки волос подмышками, редкие черные гнезда грачей. Птицы сидели на ветках, иногда спускаясь вниз, что-то хватая и возвращаясь на место. Остатки сугробов во дворе больше напоминали серо-коричневые черепаши панцири, окруженные зеленовато-желтой талой водой; погруженные в нее корнями кусты постепенно начинали распускаться и едва зеленеть. Иногда с берез случайно отрывался кусочек легкой тончайшей кожи и залетал, подхватываемый ветром, на балконы квартир. Где-то внизу, на площадке, резвились дети. На коробке ребята постарше пинали мяч, какая-то женщина, одетая в халат и розовые сланцы, выбивала пыль с ковров, а ее дочь развешивала белье на протянутых между высокими перилами веревках. Чаше, конечно, эти перила она использовала вместе со своими друзьями для игры в мяч. За забором детского сада напротив воспитатели сопровождали на прогулку группы совсем маленьких детей, одетых в яркие комбинезончики. Они шли смирно, держа друг друга за руки парами, но как только попадали на свою площадку – тут же разбегались в разные стороны, занимаясь своими делами. Кто-то лепил в песочнице замки и пирожные, кто-то бегал

друг за другом вокруг веранды, кто-то играл в куклы, а кто-то пытался пролезть между прутьями забора то ли для того, чтобы поскорее оказаться дома, то ли из-за бесконечной жажды приключений и исследований.

Вся эта идиллия освещалась ярким желтым солнцем, неприкрытым даже намеком на облачко. Саше совсем не нравилось солнце. В это время года (как и в любое другое, на самом деле) оно вызывало в его сердце больше тревогу, чем какое-то счастье или умиротворение. Когда он стоял, облокотившись локтями на подоконник балкона, стискивая зубами фильтр, это солнце как будто бы обвиняло его в том, что он сидит дома и бездельничает; обвиняло в том, что он не находится на улице, как в удовольствии там находятся другие; обвиняло в том, что он не возвращается с работы, не идет в магазин за продуктами; обвиняло в том, что он не любит солнце. Оно как будто обязывало любить его, а он не принимал эти условия. Каждый раз, просыпаясь утром и видя лучи, по-волчьи набрасывающиеся на его комнату, он расстраивался и напрягался с первых секунд пробуждения. Тревога грызла его на протяжении всего дня, пока не наступал закат.

Закату Саша радовался, как ребенок. Его успокаивал рыжеватый свет, отражающийся от окон и белых стен зданий, и даже комната в этом освещении была приветлива, как будто бы приглашала наконец отпустить этот день. Возможно, поэтому Саша и не любил солнце, потому что не любил все время, уместающееся между полуднем и пятью вечера. Особенно в выходные.

Обычно, пятничные вечера отличаются от тех, что переживаются в другие дни. Отличаются точно так же, как от пятничных отличаются субботние и воскресные.

Если в пятницу подавляющая часть города становится похожей на бурлящий желчью и кровью глубокий чан с плавающими разгоряченными чертями и мелкими, красными, как вареные раки, грешниками, то в субботу они чудесным, но закономерным образом больше напоминают рыб в поиске воды. Дрожащих, судорожных, жадно глотающих таблетки и неважно откуда поступающую живительную влагу. Воскресенье, можно подумать, вслед символике своего названия действительно воскрешает их. Но, что интересно, вечер этого дня становится еще более тягостным, чем тот же субботний. Оттого ли, что на следующий день нужно идти на работу или учебу. Или оттого, что такие долгожданные выходные пролетели несоизмеримо быстро.

Кто-то точно так же смотрел и на компанию Саши, с которой они собирались в совершенно разных местах, непредсказуемо перебирались из квартиры в квартиру, как бродячие тараканы в поисках мелких крошек, и сворачивали к себе в компанию все новых и новых участников. Они называли их – еще бескрылых, юных, совсем не опытных, и не нашедших в обществе иного понимания – нимфами.

Суть их собраний никто особенно не понимал и не пытался понять, тем более, не пытался и не хотел дать этому какое-то рациональное объяснение. Более того, само слово «рациональное» едва ли подходило для описания существования этих ребят. К слову, участники были самые разные: из разных слоев общества, с разным уровнем образования, с разными мировоззрениями соответственно. Они различались внешне точно так же, как и внутренне, но что-то общее виднелось в их периодически с трудом открытых, стеклянных глазах.

Например, их частью была Даша. Высокая, долговязая, не догадывающаяся о своей природной обаятельности и привлекательности девушка с рыжими прямыми волосами, мелкими серо-зелеными глазками, выразительно, по-кукольному аккуратно встроенными узкими губами в округлое, украшенное веснушками лицо и чуть подернутым вверх носиком с узкими щелками ноздрей.

В большей мере она одевалась в чуть широкие джинсы, разного рода джемпера и худи (что было странно при ее фигуре). Туфлями и рубашками пренебрегала точно так же, как и особо ярким макияжем, предпочитая изредка подчеркивать свои глаза и губы, а также растушевывая легкий румянец на бледные щеки.

Бутылку пива она держала изящно, за горлышко, дешевое шампанское пила исключительно из хоть какой-нибудь кружки. Если алкоголь усваивался чуть хуже, чем обычно, то старалась сделать так, чтобы в туалет никто не просто внезапно не зашел и не обнаружил ее, заталкивающей в горло пальцы, а даже не услышал хоть какое-то движение. Она была дочерью бывшего депутата, о чем не любила говорить, поскольку в средних классах ее частенько дразнили «дочкой губера». Это, разумеется, было далеко от правды, но не мешало особо разозленным детям задирать слабого, не похожего на них ребенка.

Узкий круг друзей позволил ей уделять больше времени себе, в частности, чтению литературы, прослушиванию подвальной музыки, в которой она находила отраду, видя непритворную искренность. Разумеется, чем старше становилась Даша, тем сильнее желудок скручивал голод по теплу ближнего, по желанию найти душу, способную ее принять такой, какая она была и

есть. Родители, разумеется, хоть и пытались отдать ей всю свою любовь, но, как часто бывает, этого ей было не то, чтобы недостаточно. Это просто было не то. Так Даша познакомилась с Ваней.

Ваня был не из самой благополучной семьи. Отец ушел, когда ему было всего четыре года. Мама, стремясь найти то ли любовь, то ли поддержку, часто приводила домой мужчин, так сильно желавших, как ей казалось, стать отчимом этому прекрасному светловолосому мальчику с большими каре-зелеными глазами и глубокими кратерами зрачков. У нее редко по-настоящему находилось время для своего сына по самым разным причинам, поэтому в большей части Ваню воспитали школа, дворы и бабушка. Последняя пыталась вложить в него любовь и искренность, позволяющую, как ей казалось, остаться человеком. Это безусловно светлое чувство она выражала в беспричинной покупке разного рода сладостей и игрушек, старалась как можно чаще гулять с внуком, рассказывала поучительные истории из своей молодости, которые чаще всего придумывала сама. Но бабушка не смогла прожить достаточно долго и покинула мальчика за пару месяцев до его пятнадцатилетия. Неясно, стало ли именно это последним движением, разорвавшим цепи в сдерживании нрава Вани. Но в этот момент он почувствовал, что вокруг него совершенно не осталось любящих людей.

Драки с уже устоявшимся отчимом, побеги на улицу, во дворы, в не такую уж и пугающую неизвестность, в отличие от дома, стали постепенно учащаться, а затем превратились в обыденность. Покупка алкоголя без документов, в долг, последующее общение с местными «хмурыми» и «опухшими» привели его к ощущению, что

и этот, чужой круг его не особенно-то и устраивал. Идея создать вокруг себя определенный миф, привлекающий окружающих, родилась спустя время сама собой, естественно. Не поддерживаемая ничем рациональным, как и любая глубокая жажда чувства, она зародилась во мгновение и проросла до костного мозга в минуты.

Одним из первых, кто узнал такого Ваню, был Саша. Они, в отличие от Даши, буквально на год младшей, были сверстниками.

Измученный невозможностью сжиться со своим собственным и, возможно, вынужденным одиночеством, Саша бросался из одних коротких школьных влюбленностей в другие; общался сначала с одними людьми, называя их друзьями, а затем тут же оставлял их. В своей семье он почему-то не мог найти отдушины. Не мог по каким-то причинам довериться маме, отцу, бабушке и дедушке, братьям в том числе. На их фоне он выглядел поразительно чужим. В нем не было активного стремления к учебе, к стабильности, к устройству своей жизни в общепринятых рамках.

Телосложением Саша был довольно стройный, даже щуплый. Его густые, слегка выющиеся смоляные волосы закрывали уши. Глаза, очерченные темными кругами, исподлобья сверкали при редком попадании света в зияющие ямы, где едва можно было определить границу зрачка и роговицы. Нос был выразителен, губы широкие, но тонкие. Впалые плотные щеки с выступающими скулами формировали лицо агрессивное и злое, что никак не сочеталось с его внутренним унынием и вездесущими страхами.

Этап подготовки для них был не более чем ребячеством, своеобразной игрой, авантюрой. Сначала нуж-

но было собраться и определиться с местом, где они найдут себе пристанище и, по возможности, продумать сразу следующие, чтобы в случае чего было куда бежать. Все подобные планы создавались как раз по пути в магазины, где обычно можно было купить алкоголь без документов, по знакомству. В такие магазинчики, не сетевые, крохотные, находящиеся где-то в закутках дворов и подвалах, всегда заходил один, максимум двое человек, и покупали все, что было нужно: несколько пачек сигарет, дешевое пиво и сидр, иногда джин-тоники в банках и сангрию в стеклянных двухлитровых бутылках с ручкой. Иногда, если участники находились в схожем расположении тела, духа и финансов, покупки ограничивались водкой и несколькими литрами сока. О какой-либо закуске никто не думал вероятно потому, что она воспринималась как помеха такому долгожданному опьянению, особенно учитывая отсутствие похмеля у подавляющего большинства.

Наконец зайдя в квартиру или в укромное место какого-нибудь двора, ребята откупоривали бутылки, вскрывали банки, иногда доставали стаканчики или, если находились в квартире, брали кружки с кухни и начинали пить, общаясь между собой в большом кругу. Постепенно они разбивались на маленькие группы: кто-то уходил покурить на балкон, где формировалась своя определенная атмосфера, схожая с полуинтимной обстановкой кухни, вмещающей двоих-троих человек. Кто-то, осмелев, пытался разговориться с новым понравившимся участником и то вливался в его круг, то оставался один, примыкая к более-менее знакомым ребятам. Или переключался на другого человека, возможно, не такого нового, который, впрочем, тоже нравился.

Но большая часть, конечно, просто разбивалась по интересам, находясь в диалоге парами.

Они делились своим внутренним миром, оголяя сердца, желудки и кишечник, становясь единым организмом, несмотря на внешнюю раздробленность. Возвращались с балконов, кухонь и других комнат в одну общую, чтобы снова налить, случайно встрять в спор или рассуждение, обняться, соприкоснуться губами, поднять бутылки, банки, стаканы и выпить под хрипящие вопли колонок, сопровождаемые тяжелым гудением и лязганьем инструментов, подхватываемые утробным ритмическим боем, разгоняющим пульс.

Их движения и танцы были проникнуты отчаянием и поиском. Они случайно бились о стены, как мотыльки, увидевшие свет в окне дачного дома. Их нутро выливалось наружу брызгами. Они не стремились разрушить что-то внешнее, физическое, потому что не видели в этом совершенно никакой цели и власти, чтобы иметь право. Все их рубцы и шрамы на предплечьях, ногах, запястьях, все их разбитые и переломанные носы, костяшки и пальцы являлись попыткой предоставить миру доказательство их власти над единственным доступным и возможным – над собой. Их единственная свобода – разрушить что-либо прекрасное, разрушить себя – была тем, за счет чего они держались вместе и чего истинно жаждали, скрываясь за максимализмом. И чаще всего эта жажда была неутолима.

* * *

Саша проснулся, стоя коленями на кафеле. Влажные от пота запястья были аккуратно сложены под лоб. Лок-

ти впивались во что-то холодное и округлое. Забранные за уши волосы прилипали к сырой шее. Открыв глаза, он совсем не понял, где и в какой позе находится. Перед ним, в темноте, эхом журчала вода и кислый запах пробивался в ноздри. По пищеводу, цепляясь по-альпинистски пальцами, подступала жгучая субстанция. С утробным бульканьем, клочками что-то вылилось изо рта и водопадом забурлило вниз, смешиваясь с водой. Ощупав руками холодное керамическое нечто и то, что называлось полом и находилось под ногами, Саша понял, что проснулся в туалете, окруженный рвотой.

Ему было холодно. Ощупав руками корпус и не обнаружив на себе ничего, кроме брюк, он, скользя по кафелю, как лось на заледеневшем озере, упираясь обеими руками в стены, попытался выйти в приоткрытую дверь. Она с трудом поддалась, и, сопровождаемый гулким скрипом, Саша протиснулся в прихожую. Рядом со входом в туалет, в тусклом свете мерцающей лампочки лежала девочка с двумя аккуратно заплетенными косичками, в коротеньком топики и джинсах. На ступнях были чуть спущены разного цвета носки с вышитыми белым мультяшными мордочками зайцев.

Он вспомнил, как они сидели вдвоем на балконе, курили сигарету по-солдатски, и она жаловалась на что-то очень для нее важное, болезненное. Саша убедительно кивал головой, внимательно слушая ее или, скорее, делая вид. Может, он действительно хотел помочь ей разобраться в чем-то, подсказать какое-то решение, но, кажется, у него не получалось сконцентрироваться на сбивчивых, иногда проглатываемых словах, на сломанных предложениях, на мысли, прыгающей, как дикие зайцы по лесу, путающие следы. Да, зайцев на ее носках

он запомнил хорошо.

Решив удостовериться в плачевном состоянии туалета, Саша нащупал выключатель. С небольшой дверцы, прикрывающей трубы, на него с календаря глядел седовласый, с густой бородой мужчина, одетый в белый халат. В правой руке он держал то ли палки, то ли свернутые трубочкой бумаги, а левой придерживал крест, опирающийся на плечо. Позади его головы блестел, как медаль на солнце, неровный золотой круг, и еще три изображения в таких же золотых медалях виднелись выше. Правда, одна несколько отличалась от других. В круге по центру был изображен длинноволосый, бородатый человек в темных одеждах, но выглядел он куда моложе того, кому было посвящено большее место на рисунке, а за его спиной находился белый крест. Глаза его тоже отличались от седовласого мужчины. Они казались неправдоподобно спокойнее, смиреннее, когда как в последних читались внимание и заинтересованность. Две другие медали были менее примечательны: над правой рукой был изображен черноволосый юноша, а над левой – женщина в платке.

И действительно, пол был выстлан неопределенной жидкостью, как персидским ковром. Бачок унитаза слегка наклонен, без крышки, ободок в рыжеватых засохших следах, внутри мелкой струйкой стекает вода вдоль желто-коричневой полосы.

Перешагнув через тело, Саша направился на кухню. Липкие ступни шлепали по линолеуму. Его знакомые, расположенные в странных позах, заняли самые разные места: кто-то лежал на полу, закрыв лицо ладонями, кто-то сидел на диване, опустив голову на грудь или плечо соседа, разбросав или смиренно сложив руки и

ноги. Было неясно, дышали ли они вовсе, а Саше не хотелось и проверять. Его мучала жажда. Проверив содержимое самых разных бутылок и чашек, где помимо алкоголя могло оказаться что угодно, он собрал все в одну емкость и, зажав нос, попытался выпить залпом. В груди что-то сперло, начало жечь, спазм скрутил желудок в бараний рог, и часть вернулась обратно в кружку. Его не смущало возможное содержимое этого коктейля, потому что вкус желчи во рту он едва ли мог отличить от чего-либо другого. Но жажда не утихла.

Саша по-младенчески прильнул к крану, чтобы попить воды, и почувствовал, что что-то вот-вот снова вырвется наружу. Сделав неуклюжий шаг в сторону, в попытке добежать до туалета, он споткнулся о тело своей знакомой с носками-зайчиками, и остатки вечера частично расплескались бисером на ее волосах. Прислонившись к стене, он решил перевести дыхание. Ноздри девочки сужались и расширялись, грудь медленно поднималась и опускалась. Саша уже хотел попытаться запечатлеть в памяти столь утонченное, красивое, но практически уничтоженное тело, но внезапно его прервал пронзительный треск, доносившийся из соседней комнаты.

Заглянув за угол не вставая, он увидел в бледном холодном свете несколько тел, неуклюже развалившихся на и возле разобранного дивана. Позади них, на стене, в рамке висела картинка с изображением чистого и светлого пляжа.

Кое-как поднявшись и зайдя в комнату, Саша увидел напротив них кинескопный, стрекошущий, как сверчок, телевизор. Такой же раньше стоял и у него дома, в начале нулевых. Он точно так же шумел, когда Саша,

только перейдя в среднюю школу, оставался с дедушкой. Саша засыпал перед экраном, смотря вечерами каналы с псевдонаучными передачами, а затем просыпался поздней ночью от странных жужжащих звуков. Он встал перед телевизором и начал переключать каналы, дойдя до какой-то программы про экологию.

Показывали репортаж об утилизации непригодных к использованию манекенов. Молодая девушка, одетая в серое пальто, стояла с респиратором на лице на фоне целых гор тел и их частей. Она умиротворенно рассказывала о том, как работники утилизирующего предприятия заботливо и крайне эффективно сжигают манекены в огромных резервуарах, а их полое строение позволяет удобно и легко переносить в черных мешках большие объемы пластика, чтобы наконец от него избавиться. Склейка. Теперь показывают сожжение. Безэмоциональные лица, так сильно похожие на людские, лежат с закрытыми ртами и широко распахнувшимися глазами, а их плоть облепляет пламя. Руки и ноги сворачиваются, уменьшаются, потрескивают, пищат, и, наконец, с бульканьем лопаются. Интересно, для чего могли служить эти манекены? Или чему служили, но почему-то оказались здесь. Может, кто-то из них раньше носил роскошное свадебное платье, и люди, проходя мимо, заглядывались на него, удивлялись кружеву и крою, пышности и величавости, мечтали надеть такое же или подарить дочери, сестре, внучке. А может кто-то из них носил на себе модные винтажные куртки, штаны, джемпера, джинсы, майки и стоял в каком-нибудь полуподвальном помещении среди десятков раскидистых цветов, освещаемый легким неоном. Наверняка хотя бы один из них примерял на себе наряд какого-ни-

будь императора, стоя на центральных улицах города, держа в руках афишу с зазывающими на экскурсию по городу надписями. Или носил костюмы тройки, стоя за витриной какого-нибудь элитного магазина, держа в руках стильный кожаный портфель, респектабельно поправляя галстук. Но едва ли это имело значение. Они все еще легко схватывались огнем из-за своей полости и тонкости материала. И никого не волновало, что от сжигания пластика по широкой площади вне производства распространялся идеально ядовитый черный дым, из-за которого птицы, задерживаясь здесь, падали замертво, а те животные, кто вовремя не сумел сбежать, погибали во сне. И даже те, кто носил респираторы, не могли быть уверены, что их обойдет. Склейка. Журналистка стоит в большом и роскошном кабинете. Вся мебель сделана явно из красного дерева, украшенного резными вставками. Алые губы девушки расплылись в оскале улыбки. Она держит микрофон перед пышным, как отожравшаяся жаба, лицом костюма-тройки. Галстук – его нос, пуговицы на воротничке – его глаза, выпирающий сквозь тонкую белую рубашку исполинский пупок – его рот, глянцевый пиджак – его волосы. Фокус-группа с упоением слушает его бурление. Все в порядке. Все хорошо. Вред преувеличен. Все под контролем. Люди удовлетворенно кивают и радуются.

Саша переключил канал.

Седой, с легкими залысинами старичок рассказывал о некоем виде насекомых, обитающих в Средней Азии. Они имели поразительное свойство – потреблять в пищу самые разные отходы, включая собственные, а также могли часами находиться в одном и том же положении, чтобы сберечь энергию или прятаться. Последнее, к

слову, приходилось им делать довольно часто. Их тельца хоть и были покрыты слоем хитинового панциря, но все еще были крайне уязвимы как для хищников иных видов, так и для самих себя. Склейка. Перед Сашей показались горы целлофановых пакетов и отходов самого разного происхождения. Среди широких полей не было видно ни травы, ни обнаженной земли. Только отходы, как живой организм, двигались сами собой, будто пульсировали, перекачивая кровь. Старичок снова вступил. Насекомые никогда не задерживались подолгу на одном месте и были в большей своей мере кочевниками. Найдя богатое пищей место, они оставались там не более, чем на сутки-двое, а после, на протяжении пяти-шести дней, искали другое место. Чаше, конечно, они возвращались туда же, кружась вокруг пастбища условленный природой срок, и питались там снова. Такой цикл мог повторяться ровно до того момента, пока какие-либо обстоятельства, что-либо или кто-либо их оттуда не выгонит. Что интересно, у них не было какой-то особой переносимости токсинов, находящихся в потребляемых отходах. Более того, насекомые всегда имели возможность скрытно и удачно охотиться за счет строения тела, о котором говорилось ранее. Они как будто сознательно отрицают саму идею уничтожения чего-либо чужеродного, наделенного жизнью. Но их стремление к самоуничтожению объяснить не представляется возможным. Шутливая природа наделила их непреодолимым инстинктом размножения, заставляя откладывать личинки на листьях деревьев, чтобы те разлетались по лесам, дальше от колоний, не позволяя прервать рост популяции.

Саша переключил канал.

Тропический пляж неизвестного острова блестел на солнце. Пальмы аккуратно склонялись над пышными кустами, роняя широкие листья. Пестрые птицы сидели на ветках и переговаривались друг с другом. Иногда вдоль кромки леса пробегали маленькие коричневые обезьяны, держа в пасти сочные плоды, затем останавливались, оглядывались и продолжали свой путь. Волны ласково омывали берег, оставляя после себя маленьких черепах и крабов, которые тут же пытались вернуться обратно в море. Позади, где-то дальше, глубоко в джунглях виднелась небольшая строчка дыма, сочившаяся, казалось, из жерла большого вулкана, кромка которого слегка выглядывала за прижимаемыми к земле разыгрывающимся ветром деревьями. Солнце продолжало освещать своими лучами пляж, но издалека, подгоняемые резкими порывами, приближались синие, с фиолетовым отливом, низкие грозовые тучи. Склейка. Молнии сверкают в клубящейся пене облаков, рычат, безжалостно терзая их надломленными когтями. Деревья низко ложатся под шквальным ветром, будто кланяются перед невообразимой силой, беснующейся как на небе, так и в море. Позади них виднеется алый от бурлящей магмы пробудившийся вулкан. Он изрыгал в небо столбы раскаленной жидкости, как пьяный подросток, стоящий за мусорным баком. Вдалеке бушевали пожары, стремительно подбирающиеся к пляжу. Среди грохота и рычания неба едва различались истерические крики обезьян и вопли птиц, пытающихся улететь подальше, но останавливаемые ветром. Они в бессилии падали на землю, поглощаемые пламенем. Раскаленный песок шипит под натиском магмы. Пламя развевается по всему острову, как волосы на ветру. Склейка.

Серые низкие облака кружились над островом. Пляж тлел. Опустел. Крупный план. Сквозь пепел пробивается зеленый росток. Его листья широки и жаждут влаги, а ствол тонок, но тверд. Он здесь один. Пока что.

Саша выключил телевизор. Страх теплым махровым пледом окутал тело. Злоба и ненависть, не нашедшие направления, заставляли сердце перекачивать кровь энергичнее, быстрее, четче, отдаваясь ровным ритмическим пульсом в висках. Желание поддаться боли и чувству поражало импульсами все тело, заставляя дергаться под барабанный бой, звучащий глубоко в черепе.

Он уже потянулся к телевизору, чтобы опрокинуть его. Хотел схватить стул и разбить окна, сорвать с петель дверь, сорвать бочок унитаза и бросить его в стену с календарем, перебить все пустые и полупустые бутылки, швырнуть в стену кружки, бокалы, стаканы, стащить на пол своих товарищей, голыми руками распотрошить ткань дивана, подушки, изрезать осколками обои и шторы, схватить рамку с пляжем и руками разорвать ее. Уничтожить пляж! Вот было бы весело! Весело! Истинная свобода! По-настоящему весело!

Но нечестно. Это не принадлежит ему. Отпрянув от телевизора, Саша аккуратно забрался на диван (так, чтобы случайно не наступить на кого-либо), снял со стены рамку и в рыжем свете уличных фонарей начал ее рассматривать. Белые облака пышно клубились на горизонте, зеленые кривые стволами пальмы, между которыми раскинулся полосатый гамак, тянулись от золотого песка к глубоко голубому небу, такому же голубому, как само море. Он как будто бы слышал шепот ветра, застревающий в листьях деревьев, слышал легкий шелест песка и ворчание волн. Саша посмотрел на

своих друзей. И они ему не принадлежали. Единственное, чем Саша мог владеть – был он сам. Но владел ли?

Он подошел к окну и открыл его настежь. Холодный ветер трепал грязные волосы, обволакивал тело, заставляя сокращаться мышцы живота и спины. Рыжеватые тучи низко висели над городом. Что, если уничтожить самое сокровенное, что у него есть? Позволил бы он себе разрушить не то физическое, что создает и сдерживает его внешне, что перемалывает кости и плоть, а что-то более глубинное и настоящее, истинное? Докажет ли он тогда самому себе и окружающим, что его стремление – это не просто бунт против естественной, природной лжи и ненависти, проросшей и продолжающей расти, создающей все новые и новые оковы, несмотря на все старания культуры и искусства, а первобытная жажда свободы, ее последний рывок?

Саша запрыгнул на подоконник, свесив ноги из окна квартиры, и посмотрел вниз.

ПЛЯЖ

Седеющее море шепотом омывало берега небольшого тропического острова. Где-то рядом хохотом срывали голоса птицы. Раскидистые деревья трепыхались под порывами южного ветра. Не было ни жарко, ни холодно – было тепло. На одиноком пирсе, свесив ноги, заигрывая с волнами, сидела маленькая девочка и напевала простенькую мелодию из джингла местной забегаловки. Она периодически останавливалась, чтобы отдышаться и побеседовать со своими игрушками, раскиданными вдоль дощечек, а затем всматривалась в даль горизонта, поедая сочные, с трудом помещающиеся в ладони плоды. Сок стекал по щекам и рукам, отчего те становились липкими, и мелкими капельками с локтей падал на доски, футболку и шорты, оставляя небольшие пятнышки.

По правую ее руку, метрах в ста, спешили искупаться голышом молодые люди. Они беспорядочно разбрасывали одежду на пути к воде. Молодой человек, в последний момент скинул с себя трусы, едва не запнувшись. Балансируя на одной ноге, он вбежал в воду, постепенно вынужденный сбавлять скорость, и нырнул, не дожидаясь свою спутницу, которая, также стремительно сбросив одежду, последовала за ним.

Они беззаботно плескались и по-дельфиньи резвились, что-то кричали друг другу на непонятном языке. Их загорелые тела блестели на солнце, ручейки стекали по лицам, попадая в глаза, уши, рот. Но они не придавали этому значения. Обнявшись, могли снова упасть в воду, схлопывающуюся над ними, продолжая смеяться, лишь на секунды задерживая дыхание, пока не выныр-

нут снова.

А девочка продолжала напевать мелодию.

Костя лежал на шезлонге в тени навеса. Все принадлежности он взял с собой. Он любил этот пляж потому, что здесь редко появлялись люди, а те, кто все-таки сюда приходил, ни разу не сомневались в своей безопасности. В руке он держал на половину опустошенную бутылку воды, иногда делая пару глотков и цеплялся глазами за одиноко проплывающие вдалеке рыбацкие лодки и небольшие парусные яхты. Зеленые сланцы валялись где-то рядом, собирая в себя редко попадавшие песчинки.

Костя думал о свободе.

В детстве у него часто спрашивали, кем же он хочет быть, когда вырастет. Для Кости вопрос был довольно странным и глупым, потому что он не хотел быть никем. Дети вокруг отвечали, что они мечтают стать пожарными, актерами, судьями, полицейскими, космонавтами, музыкантами, учеными, исследователями, бизнесменами. Он смотрел на них и слушал. Ему все еще не хотелось отвечать, поэтому каждый раз Костя называл новую профессию, которой не требовался сложный и искренний ответ на вопрос «почему».

Потому что это смело. Потому что хочу помогать. Потому что хочу много денег. Потому что потому.

Может тогда он не знал, не думал, кем хочет быть, или наоборот – знал уже слишком хорошо. Или чувствовал.

Сколько Костя себя помнил, ровно столько же он приезжал на лето к бабушке и дедушке на дачу, принадлежавшую их общей подруге. Пестрые цветы, множество зелени, лес рядом, знакомые и приятели – все увлекало Костю довольно быстро, отвлекая от множе-

ственных школьных дел, обязанностей, домашних заданий и прочего, чем ему так не нравилось заниматься.

Домашней работе он предпочитал улицу вне зависимости от времени года. Там можно было поиграть, пошутить, заняться чем-то действительно увлекательным, узнавать мир вокруг себя. Построить плот, на нем переправиться через лужу, представляя себя пиратским капитаном; забраться в большой парк, похожий на густой лес, и играть там в прятки; прыгать по гаражам и стройкам; исследовать полуразрушенные церкви; купаться в речке; сражаться по-самурайски палками, совершенно игнорируя всяческие опасности и телесные повреждения. Но несмотря на все эти разнообразные развлечения, Костя все равно оставался дома и готовился к следующему школьному дню.

На эти обязанности чаще всего ему указывала мама, воспитывавшая его в одиночку и пропадавшая на работе с утра до позднего вечера. Работа учителем никогда не была простой, а учитывая обстоятельства, на ней приходилось проводить куда больше времени, чем обычному человеку.

Мама часто говорила об этом Косте, случайно переходя на крик. Будучи маленьким, он имел свойство обижаться на нее за, как ему казалось, несправедливые упреки. Но чем старше он становился, тем больше понимал, что по-другому существовать невозможно. Пропадая на работе, мама часто звонила Косте на домашний телефон, узнавала о его школьных успехах, которые ему часто приходилось замалчивать, интересовалась обедом и со спокойной душой отправляла на дополнительные кружки (до более-менее сознательного возраста Костя их тоже не любил). Поэтому, чтобы лиш-

ний раз не расстраивать и без того бесконечно усталую маму, Костя с ранних лет усвоил такие слова как «долг», «ответственность» и прочее, что, кстати, поначалу не могло не помогать ему на даче.

Со временем дед начал обучать Костю азам физического труда: предлагал что-то попилить, придержать, перенести, выстругать, приколотить, оторвать, прикопать, собрать ягоды, отнести что-либо куда-либо. Разумеется, когда все дети на даче летом бегали по дорожкам между домами, плавали, катались на велосипедах, строили в лесу шалаши, дедушка заставлял Костю проводить минимум два часа в день за чтением списка школьной литературы. Более того, дедушка контролировал, как и что читает его внук, постоянно борясь с отнекиваниями и нежеланием золотым словом «надо». Так Костя познакомился с понятием «обязательства».

Костя часто вспоминал свое детство и подростковые годы, поэтому обойти их в своих рассуждениях о свободе он не мог. Когда ему было десять лет, отец принял решение продать свою часть квартиры, в которой Костя жил с мамой. Семье пришлось влезть в серьезные долги, которые они выплачивали до совершеннолетия Кости. В тот же месяц дедушка, вложивший в воспитание ребенка все свои силы и знания, скончался.

Он умер в тридцатиградусный мороз на остановке, ожидая автобуса с дачи вместе с женой. Тромб отвалился. Бабушка говорила, мол, умер мгновенно. После этого на Косте появились новые обязательства, которые он не отрицал и не хотел отрицать. Оставшись единственным мужчиной в семье, он был обязан в силу своих возможностей помогать родителям на даче, а в силу своего таланта – выступать на конкурсах от музыкальной шко-

лы, где работала и обучала его мама.

Мама занимала отдельное место в жизни Кости. Как и любая мама, стоит полагать. Он знал ее трудную судьбу, встречался с этой судьбой каждый день, и безмерно ценил все то, что она для него делала. С теплотой в сердце он вспоминал их походы в небольшой парк аттракционов, где они вместе катались на маленьких американский горках, вагонетки которой были выполнены в форме большой улыбающейся гусеницы в красном платочке в горошек. С такой же радостью вспоминал их совместные прогулки летом по зеленой набережной, небольшие пикники у речки, игры в снежки, спуски на ледянке, совместные просмотры мультиков и фильмов про супергероев вечерами дома или в выходные дни в кинотеатре, разные подарки, которым часто даже не нужен был повод. И ничто не могло уничтожить в нем ощущение ценности этой любви, ценности приносимой жертвы, ценности долга (называйте, как хотите).

Подругу бабушки Костя воспринимал как свою родственницу, поэтому, приезжая к ним на лето, она не могла не участвовать в его воспитании. Он совершенно не был обделен теплом, но, как и любому ребенку, больше всего ему нравилось избегать обязанностей и обстоятельств, поэтому Костя часто хитрил и мухлевал. На даче он мог довольно халатно выполнять свою работу, или делать что-то слишком медленно, растягивая это на весь день. Мог соорудить такое лицо, что у любящих родителей не было сил не отпустить его на прогулку с друзьями. А в течение школьного года часто мог немного соврать маме о выполненном домашнем задании. Костя прекрасно понимал, что времени на проверку у мамы нет, даже если сын все-таки помыл посуду и

сварил гречу, чем сэкономил, может быть, полчаса. А может и час. Но обязанности все равно при любом случае настигали его, лишая такой желанной свободы.

Свобода должна жить внутри человека. Гореть внутри человека. С другой стороны, избыток свободы ведет к большей ответственности, не предполагая вседозволенности, а, скорее, наоборот. Костя, знакомый с этими мыслями, едва ли понимал их полностью даже сейчас, размышляя на пляже.

Когда ему исполнилось пятнадцать лет, он стал чуть более склочным подростком, хищнически жадным до чувств и ощущений. Поэтому, всячески отлынивая от дел и занятий, он стремился куда-то сбежать, куда-то съездить, увидеть что-то. Стремился влюбиться. Как голодная рысь, выслеживал свои чувства, впиваясь когтями и разрывая плоть первой попавшейся эмоции, пил ее теплую кровь, заполняющую слипшуюся пустоту желудка. Но, к сожалению или счастью, этот голод невозможно было утолить таким способом. Костя не понимал, что с ним не так. К чему он стремится на самом деле, к чему он живет в целом, что свойственно многим маленьким людям его возраста. Он читал стихотворения живых и мертвых поэтов. Редко что-либо понимал полностью, но стремился чувством впитать их опыт.

Школа сменилась универом. Косте нравилось учиться на выбранном направлении, где свободолюбивые взгляды чаще поощрялись, чем вызывали недоумение и пресекались. Учитывая специфику получаемого образования, ему приходилось читать еще больше, часто преодолевая нежелание и лень. Но Костя понимал, что это приносит ему больше пользы, расширяя сознание, позволяя взглянуть на мир оптически – приближая и от-

давая человеческую жизнь, душу настолько, насколько захочется. Язык становился ближе, яснее, мелодичнее и звучал в одной плоскости с музыкой. Картинки сплетались в сложные узоры, жаждущие обретения формы. Тогда ему открылось искусство.

Тысячами ночей, когда дел и обязательств становилось меньше, улица и дом успокаивались, засыпали, Костя начинал писать все подряд. Рисовал, выписывал строчки и линии, искал звуки, создавая свою собственную душу, конструируя ее на основе чувства, отрицая хоть что-то рациональное или, скорее, пытаясь. Его стихотворения были безвкусно простыми, но кричали о чем-то; музыка была спокойной и тихой, но умоляла, рисунки – резкими, но жаждали нежности. Вкус чего-то нового, созданного им самим из клочков жизней многих и своей, заставлял чувствовать себя живым. С другой стороны, это чувство вызывало прямую зависимость, принуждая страдать во время неспособности написать.

У Кости был двоюродный брат на пару лет старше – Антон. Пока Костя находился в одиночестве на неизвестном пляже, Антон работал в IT-компании, уже был женат, имел машину, откладывал на квартиру и жил прекрасную стабильную жизнь. Правда, для этого ему пришлось пережить множество не самых приятных времен, начиная с работы грузчиком в продуктовом, заканчивая редким пристрастием к разнообразным химическим соединениям. С одной стороны, Костю привлекала эта стабильность, деньги, уверенность в своем завтра и, кажется, стремление к гедонизму, выстраиваемому вокруг комфорта. У Антона, разумеется, было множество обязательств, но, в отличие от Кости, они его

не тяготили. Не тяготило то, что завтра ему вставать на работу, к которой он стремился так долго и которая не оставляла его даже в выходные дни и свободные часы. Не тяготил вид из окна на полуголый парк. Не тяготило и то, что его жизнь так похожа на множество других.

И Костя ощущал в этом чудесную прелесть забвения. Может, ему тоже этого хочется? Вставать по утрам в приятно оформленной квартире с окрашенными цветом парного молока стенами, с дизайнерским интерьером, с подвешенными на разном уровне торшерами, напоминающими свечи; чистить зубы поочередно двумя щетками, смотреть на себя в зеркало с подсветкой; стоять в душевой кабинке, омываемый и массируемый со всех сторон мягкими струйками; выходя затем на кухню, налив чашку чая, смотреть в панорамное окно на просыпающийся большой город; надевать заранее выглаженную женой, приятно пахнущую кондиционером с ароматом сирени одежду; целовать ее, любимую, перед выходом, вызывать себе такси и ехать на работу; читать список дел на сегодня.

А что, девушка же есть. Правда, не здесь. И родителям можно было бы помочь, снять с них часть нагрузки, дать денег на подробное обследование, на санаторий.

Антон в какой-то момент даже хотел помочь брату, поставить его на путь, научить одному из языков программирования, поделиться курсами, которые он сам проходил. В периоды тяжелых кризисов Костя сам просил у него совет, пытался заниматься этим днями и ночами напролет, изучая азы и пытаясь что-то построить, создать, написать. Но запал быстро заканчивался. Болезнь прогрессировала и расплзалась метастазами в легкие, курсировала по венам, затрагивала зрительный

и слуховой нерв, проникала в кости и суставы, как будто Костя уже не мог по-другому существовать и думать. Жить.

На пляже он был один. Девочка ушла с пирса. Молодые люди, одевшись, взялись за руки и ушли.

Но если Костя позволит себе подобное забвение, то как ему справляться со своей зависимостью? С каждым днем она прогрессировала все больше, иногда затухая, но возвращаясь с еще более болезненными симптомами. Обязательства перед близкими, перед домом, перед самим собой сковывали его чугунными путами. Может, остаться здесь навсегда? Пропасть и исчезнуть? Его потеряют, сначала поищут, погрустят. Но что будет с родителями? Как они смогут без его помощи? Как он может себе позволить обречь их на отсутствие тепла, которое они вложили в него? А девушка? Это противоречило бы его чувствам полностью.

Но Костя им ничего не должен. Он понимал, что дело не в долге. Что долг – понятие совершенно не применимое к данным обстоятельствам и ощущениям.

Но ему хотелось писать. Не хотелось заботиться о завтрашнем дне. Не хотелось решать задачи. Не хотелось рассуждать о повышении ставки на ипотеку. Не хотелось выбирать машину. Не хотелось разговаривать с арендодателями. Не хотелось считать налоги. Не хотелось ходить на собеседования. Не хотелось ходить на работу. Не хотелось преодолевать быт. Не хотелось заводить собаку. Не хотелось выгуливать собаку. Не хотелось удалять зубы. Не хотелось покупать новую одежду, чтобы выглядеть солидно. Не хотелось гулять по парку среди множества таких же рубашек, платьев, туфель, каблучков, пиджаков, пальто, прозрачных зонтов. Косте

не хотелось тонуть. Но, возможно, ему все-таки хотелось бы пропасть.

А может, его родители уже умерли? Костя, сколько тебе лет? Почему ты оставил ее? Где ты ее оставил? Да, возможно, у тебя и есть накопления. Возможно, тебе живется сейчас свободнее, чем когда-либо. Ты не думаешь о работе, ты не думаешь о партнере, ты не думаешь о долге, о чести. У тебя, наверное, есть люди, которые помогают тебе быть услышанным. Ты занимаешься тем, что тебе нравится. Тем, что получается лучше всего, тем, в чем ты нашелся. Но нужен ли тебе хоть кто-то рядом, кроме себя?

Костя рассуждал о том, как поступил бы другой человек, случись так, что цели у них одинаковые, как и обстоятельства. Что сделал бы другой человек, добровольно потеряв родителей и любовь, имея деньги, при всем при этом все еще желающий отдать себя чему-то? При этом не являющийся все еще довольным? Испытывающим иной, не физический голод? Будет ли он жалеть о прошлом, будет ли он доволен итогом жертвы, обрекшей его на одиночество?

Готов ли он понести ответственность?

Море сипло шептало.

* * *

Вибрация телефона нарушила медитацию, вырвав из транса. Костя сидел на кровати, прижавшись спиной к стене, сложив ноги под себя, а руки на колени. Затылок ощущал мягкий холод. За окном метался снег, шумели проезжающие мимо автомобили. Где-то, кажется, с ав-

тобусной остановки, слышался хохот детей, возвращающихся со школы. Костя медленно выдохнул и улыбнулся. На экране телефона высветилось сообщение.

«Ты приедешь?»